

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



ЕСЛИ УПАДЁТ ОДИН...

ПОВЕСТЬ

1

...Иосиф, с огромными трудностями перейдя болото, отделяющее хутор от шоссе, а точнее, от внешнего мира, окончательно выбившись из сил, еле выбрался на твёрдое и словно подкошенный упал на тропку между крыльцом дома и двумя берёзами. Дышал он глубоко и тяжело. Сердце стучало так часто, что казалось, ещё мгновение — выскочит из груди. В висках кололо, в голове стоял какой-то зловещий звон. Глаза жгло, они слипались, и только большими усилиями воли удавалось открывать их.

Он долго лежал на холодной земле, уже вобравшей в себя влагу первых осенних дождей и сырость утренних туманов. Лежал неподвижно, будто прислушиваясь к самому себе, будто приглядываясь со стороны — живой ли... Конечно, живой, коль так сильно клокочет в груди, коль болит, коль режет глаза. И когда открывал их, прежде всего видел две высокие берёзы шагах в двадцати от себя, а потом уже лес, окружающий хутор, серый и унылый. Берёзы медленно качали длинными желтыми косами. Казалось, качаясь, косы касались высокой пожухлой травы, то приоткрывая почти до половины серый бугорок под деревьями, то закрывая его. А через некоторое время, кое-как успокоившись, Иосиф попытался подняться, попробовал оттолкнуться от земли, но руки в локтях будто надломилась — рухнул на тропку, прохрипел:

САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 году в деревне Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, критик, публицист, эссеист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

* Журнальный вариант третьей повести трилогии "...И нет пути чужого".

“Боже... Что же мне делать...” Конечно, ни от кого он не ждал ответа, и через минуту отчаянно вымолвил, обращаясь к самому себе: “А надо ли что-то делать?.. В Гуду идти?.. Нет!”

А в это время на окраине Гуды возле дамбы собрались Михей, Николай, Игнатий и Надя Соперские, их дочь Света, а также Катя с сыночком Петриком. Собрались, чтобы проводить в дорогу Ефима и Валика. Миней, Николай и Игнатий держались спокойно, будто не знали, что предстоящее далёкое плавание по реке будет не простым, будто не знали, что Ефим только что оправился от болезни, а у Валика для такого путешествия опыта мало. И женщины скрывали волнение, особенно Надя, мать Валика. Она, отведя сына в сторонку, искоса поглядывая на мужа, казавшегося совершенно спокойным, говорила: “Валик, ты уже взрослый, за дедом смотри. За старым, как за малым, глаз да глаз нужен”. Валик молча кивал головой, дескать, понимаю, не волнуйся, мама... А Катя, подойдя к старику, стоящему на мостку, к которому была привязана лодка, словно пригрозила ему:

— Дядь Ефим, посмейте только пришлыть без Иосифа! Скажи ему, мы все его ждём. Скажи, что есть где ему жить, вон, в общежитии лесоучастка свободных мест полно.

— У меня поживёт, пока новый дом поставим ему, — сказал Ефим. — Захочет — на месте его дома, фундамент же из камня, прочный, не сторел, и паводок его не разрушил, да и подновить можно. А не захочет там, так где сам решит, там и поставим — у реки, у бора...

Старик уверенно прошёл по качающемуся мостку к лодке, посмотрел на неё, чтобы в который раз убедиться, надёжна ли. Конечно, надёжная, сам каждую весну дно просмаливал, обстукивал борта, заглядывал в уключины, чтобы всё было, как надо. Остался доволен — дно было сухое, рюкзаки с едой и тёплой одеждой не подмокнут. Лодка вместительная, с широким дном, высокими бортами — добротная, известно, для себя делал Иосиф, а лодки мастерить он умел, как никто в Гуде.

Мужчины Ефиму никаких советов не давали — лишнее, старик лучше них знает дорогу в Кошару, да и как держаться на воде, не надо его учить. И не учили. И никто не пытался, как вчера, отговаривать его от намерения отправиться в дорогу, знали: если Ефим Михайлович на что-то решился — сделает. Знали также, что всё до мелочей продумал старик, он жизнью изрядно потёрт.

И это так: решил — сделает, никто и ничто его не остановит. И жизнь потёрла его, как никого из односельчан. Вчера, пока Ефим от шоссе в деревню вёз в телеге женщин с детьми, он много думал о том, что было в его жизни, что есть и будет. В пути думается хорошо. Особенно когда не торопишься, когда лошадь сама спокойно идёт по знакомой дороге, направляясь туда, где её ждёт хорошая охапка сена, а то и полведра овса. И Буланчик шёл мерно, хотя Петрик время от времени дёргал вожжи, подгонял его.

Многое вспомнил Ефим того, что касалось жизни своего бывшего друга Иосифа Кучинского. Вспомнил, будто со стороны посмотрел и на своё, и на его. Посмотрел и на то, где пересекалось своё и чужое, да как... Всё там было: и хорошее, и не очень, и совсем плохое. И у Ефима, и у Иосифа, и там, где пересекалось. Вспомнил, как, познакомившись, когда Ефим пришёл в Гуду, быстро сдружились... Вспомнил, как, потом рядом жили в деревне, как работали, как вместе людям избы ставили, как детей растили... Вспомнил и о том, как война развела их по разным сторонам... Вспомнил и паводок после того, как взорвалась дамба, и сжалось сердце, словно в него шило воткнули — исчез тогда Иосиф бесследно, а виноват в этом он, Ефим... Семь лет о нём ничего не было слышно, и вот, наконец, — жив!.. Так Катя говорит. А вдруг она ошиблась?.. Вдруг она Антона приняла за Иосифа — старые люди чем-то похожи. Тогда нет того на свете. А если так, на нём, на Ефиме, смертный грех. И будет лежать на душе, пока по земле ходит Ефим, а может, и там, на том свете не даст ему упокоения.

Как только ни укорял себя Ефим в мыслях за то, что случилось между ним и Иосифом, когда тот той страшной ночью пришлыл к ним на пригорок, а облегчения нет. Укоряй себя не укоряй, кайся не кайся, а то, что по твоей

вине свершилось, этим не исправишь. Ишь, бес в душе у Ефима сидел. Увидел Иосифа, когда подплывал тот к пригорку, ещё издали, из крошечной тьмы хрипел, людей звал, Ефима, да всех, кто тогда от паводка там спасался, и будто кто указал Ефиму: “Тони его! И он, он виноват во всём, что случилось в Гуде в войну”.

Еле сдерживал тогда себя Ефим, открыто не гнал. Не кричал. Не показывал того, что было на душе. Но говорил с Иосифом враждебно, с едкой насмешкой: ничтожество... Говорил и понимал, что слова его больно били Иосифа, проникали в сердце, да так, что, наверное, не в состоянии ему было всё это слышать, нельзя было там оставаться — ушёл... Страшно всё это. И сейчас, раздумывая о том, как будет плыть в Кошару, сможет ли перейти болото (может быть, тот, кто живёт на хуторе, перебросил в другое место плашки), что скажет Иосифу, коли это он там, Ефим еле сдерживал себя, чтобы вслух не молвить: “Что же я сотворил тогда, старый дурак...”

А вчера, когда ехали на телеге от шоссе в Гуду, вспоминая, как и в молодые годы, да и позже, видя немало горестного, а то и совсем плохого в жизни Иосифа, зная, что тому нужна его помощь, будто ничего не замечая, проходил мимо. Стеснялся, не хотел вмешиваться в чужую жизнь? Как сказать... Вспоминал, что и до войны, и в войну, когда сын Иосифа Стас служил в полиции, односельчане не сторонились Кучинского, понимая, что тот в этом не виноват, а женщины даже сочувствовали ему. Впрочем, помнится, до войны, когда ещё была жива Мария, жена Иосифа, люди не просто сочувствовали ему, жалели его: хороший человек, а баба вьёт из него верёвки, брезгует им, и он всё переносит молча.

Также вспоминал тогда и слова участкового Савелия Космановича, сказанные вскоре после того, как исчез Иосиф, что власть считает его не виноватым за действия сына-полицая. Получается, власть за Иосифа, а ты против него... Если так, то кто ты такой, Ефим Боровец, против власти?..

Понимает Ефим, что перед людьми Иосиф ни в чём не виноват. И перед ним лично — также. А вот он, Ефим, во многом чувствует свою вину перед бывшим другом. И не надо считать себя едва ли не святым, а ко всему ещё и выносить Иосифу свой личный приговор.

Есть у Ефима вина перед Иосифом, есть, и особенная. Она, будто приклеенная, тянется за ним ещё из их далёкой молодости. Столько лет прошло, давно пора позабыть бы, но нет, случается, душу так всколыхнёт, что хочется закричать, да так, чтобы мир содрогнулся: “Почему же ты тогда друга одного в беде бросил, Ефим?! Как же это могло случиться? Ведь ты сам столько горя хлебнул, знаешь, что почём. Тебя же малого, сироту, чужие люди подобрали и спасли от голодной смерти, и как бы им самим ни было тяжело, в беде не бросили, вырастили, в жизнь пустили... Эх, Ефим, Ефим...”

Ну что ж, со стороны легче на себя смотреть, со стороны и осуждать себя легче...

Думал так старик и еле сдержался, чтобы не закричать, но уже сам себе, своим голосом: “Какой же мне позор!..” А как ещё назвать то, что было? Не поддержал Ефим Иосифа, когда бабы оклеветали его девушку, когда своими языками клеймо на ней выггли: “Блудница!.. Днём при всех голышом к жеребцу сама явилась...”

Видел Ефим, как Иосиф страдает, как ходит, словно неприкаемый. Но не подошёл к нему, не утешил, даже руки на плечо не положил. А почему?.. А вот этого он и сам толком не знает. Может, потому, что не нравилась Ефиму Теклюшка. Как увидит девушку, так и чувствует, что душа его отталкивает её от себя: случается такое меж людьми... Не понимал Ефим, как Иосиф её может любить.

Ладно, пусть не утешил Иосифа, не поддержал в трудную минуту, это ещё ничего. Иное хуже: сказал же Иосиф ему, что пойдёт повидать Теклюшку, когда Авдей повезёт её венчаться. Знал Ефим, опасное, непростое дело и для себя, и для неё затеял Иосиф, но не пошёл с ним... Боялся, что побьют Авдеевы прихлебатели? Нет, не боялся, но и теперь нет у Ефима ответа, почему не пошёл с Иосифом.

А тот один пошёл. Вне себя был, словно чумной. И девушку не вернул, и Авдеевы дружки измолотили его, как сноп, долго Иосиф кровью харкал. Так какая после это могла быть дружба между ним и Ефимом?..

Удивительно, что после этого Иосиф вообще не отвернулся от Ефима. Если бы такое стряслось с ним, Ефимом, он ни за что не простил бы Иосифу. Удивительно, что после этого они какое-то время всё ещё держались друг друга, хотя прежней искренности и открытости между ними уже не было, и постепенно дружба угасала, пока совсем не угасла.

Окончательно их развела по разные стороны война. Она будто провела между ними борозду, да такую глубокую и широкую, что через неё не перебежать, не протянуть друг другу руку...

А что оболгали, оклеветали бабы Теклю, девушку Иосифа, Ефим позже узнал. Услышал однажды, как Авдей Юхновец, уже прожив с Теклей несколько лет, на какой-то гулянке в Забродье пьяный хвастался парням, дескать, я и сейчас могу любую девку так приручить, что косы её буду накручивать себе на руку, а она даже и не пикнет...

Больно кольнуло тогда Ефима: это что ещё за “прирученье” такое? И что значит — любую?.. И его Марфушку Авдей мог бы так одурманить, если бы встретил раньше, чем Ефим? Однако ж...

Глянул на Авдея, на парней — стояли у плетня, курили: тот — красивый, уверенный в себе, слова нехорошие, словно шелуху, в лица им бросает, а те, лоботрясы, ржут, как жеребцы: “Научи!”

“Научи, — скалился Авдей. — Задаром? Задаром и чирей на задницу не сядет... Одно могу сказать, секрет отвара знаю, дорого он стоит, а вы — научи!.. Дай ей выпить того отвара — одуреет, и веди её, как овцу, куда хочешь. А вы здесь топчетесь, на девок пялитесь — и никакого из вас толка! Женихи...”

На улице это было, возле дома, в котором гуляли. На все лады заливалась, захлёбываясь гармошка, кто-то оглушительно колотил в бубен, женщины сыпали припевками, колкими, высмеивали незадачливых кавалеров, которые боятся подойти к девочкам...

Ефим Авдея давно знал, не любил: кривляется, задаётся, дескать, кто вы передо мной, голь этакая... На вечеринках всегда первый, и когда парнем был, и сейчас, женатый. Поговаривали, что и теперь дома жёнушку взаперти держит, а девчат, которые у него работают, втихаря таскает в гумно и в стога... И вообще говорили, что немало девичьих слёз пролил, и всё ему, как с гуся вода...

Говорили, возмущались, но не трогали Авдея, боялись его, но и шли к нему хоть что-нибудь заработать — где ты в деревне найдёшь копейку, как не у Юхновца?

Понял тогда Ефим, что по злому умыслу обесчестил Авдей Теклюшку, чем-то опоил её, вне себя она была, когда бабы их в снопах застали. Знал, Авдей давно к ней присматривался: красивая, трудолюбивая — такая нужна в хозяйстве. А что ершистая, так с бабьей ершистостью, коль совести у мужика нет, да рука крепкая, он вмиг справится... Старые женщины, случалось, поучали кого из парней, кто долго не женился, дескать, возьми эту или ту. Перезрела, лицом не пригожа? Ничего, зато какова работница в хозяйстве будет. А с лица воды не пить, и хозяйство будет ухоженно, и никакой Авдей не сведёт.

Глянул тогда Ефим на Авдея, внутри всё будто взорвалось, закипело, хотел закричать: “Ах ты, погань несуразная!” — да наброситься на него... Но не закричал, не набросился. “Скажут, обезумел Ефим Бороец, на людей ни за что ни про что бросается”.

Понял Ефим, что случилось тогда с Теклей, когда бабы застали её с Авдеем в снопах, но Иосифу об этом не сказал. И теперь не знает почему... Хотя, может, уже тогда стыд сжигал его, Ефима. Ещё бы: Иосиф побегал перегордить лошадям дорогу, когда Авдей вёз Теклюшку под венец, чтобы в последний раз повидать её незамужнюю, а может быть, и воротить к себе, так Ефим не поспешил с другом. Нет... А сейчас пришёл, чтобы сказать, что оговорили её? Поздно...

И Марфе своей об этом долго не говорил, носил в душе стыд, и тот стыд, казалось, обжигал её, словно раскалённый камень. А Марфушка, наверное, догадывалась, что нет уже прежней дружбы между Ефимом и Иосифом, но ни о чём не спрашивала.

Уже после того, как раскулачили Авдея и сослали вместе с Теклей (тогда никто не знал, куда), как-то обмолвился Ефим: “Камень у меня, Марфушка, на душе... Давит, нет мочи терпеть”.

Выслушала тогда его жена, долго молчала. Затем, собравшись с мыслями, молвила: “А что бы ты тогда изменил в судьбе Иосифа и Текли? Ну, рассказал бы Иосифу, как всё было, так что, он бросился бы к Авдею да Теклю забрал? Так она уже перед Богом была Авдеевой женой”.

Действительно, ворвался бы Иосиф в чужую семью, порушил её, что здесь хорошего... И люди смеялись бы. А не сказал, так может, и лучше...

Рассуждал тогда Ефим и так: и Иосиф уже давно семейный человек, хоть и лада в его семье нет, а всё-таки живут... Зачем, чтобы Иосифу и Марии было ещё хуже...

Две семьи мог бы порушить тогда Ефим. Правда, у Авдея с Теклей детишек не было. А у Иосифа и Марии — сынишка. Его или не его — Ефиму до этого нет дела. Бабы сплетничали, что Иосиф брал Марию брюхатой. Говорили, она на него чужое повесила — парень у Марии до Иосифа был, крепко любились...

Ах, бабы, бабы... Давно уже у вас всё женское угасло, а вам всё не терпится кого-то из молодых оговорить, хоть в мыслях, а возле чужой кровати постоять. Был ли или не был у Марии парень, какое ваше дело?.. Не слепой же Иосиф брал её. Дитя принял и растил, как отец. Вот только беда, вырастил такого супостата, которого здешняя земля ещё не видела: своих в войну истреблял...

Знал Ефим, видел, как тяжело жилось Иосифу. Сочувствовал ему, но слова в поддержку никогда не сказал, боялся, что обидится тот, возмутится: “Чего ты меня жалеешь?.. Мой крест, мне его и нести...”

Не любил Иосиф говорить о том, что и как в его семье. Но если подумать, так всё же надо было обо всём рассказать Иосифу: и об Авдеевом отваре, и о том, почему он, Ефим, не пошёл тогда с Иосифом, и о том, что вину свою чувствует перед бывшим другом, вот только мальчонку не надо было бы трогать...

Старые они уже, Ефим и Иосиф. Много пережил каждый из них. И вместе, и порознь. Ефиму почему-то иногда тяжело выговорить имя бывшего друга так, как когда-то выговаривал в молодые годы на городской манер: Иосиф. Ещё бы, из города пришёл в Гуду Ефим, молодой был, с ветерком в голове, куражась перед деревенскими, “перекрестил” Осипа на свой аршин. Всех научил, скоро привыкли сельчане: какой Осип? Иосиф!.. Только Теклюшка его по-прежнему Осипом звала. Ефим посмеивался: “Ты будто старуха какая. Так только старухи стариков зовут. Теперь молодые в городе на парня с таким именем скажут Иосиф. И не стыдно тебе?”

Отвечала, как по лицу хлестала: “Ай, какой умник отыскался!.. А я деревенская, какой была, такая и есть! И не чега тебе, чтобы слушаться. Старуху нашёл!.. Как надо, так и называю: Осип! И ты мне не указ!”

Не нравилось это Ефиму: коза! Рожки ей обломать бы! Ещё бы — с ним бодаться вздумала. Да кто ты такая?! Что в жизни дальше своего носа видела?

Иосиф на это ихнее “в рожки” не обращал внимания: пусть... Ефиму он — Иосиф, ей — Осип. Хоть горшком назови, только в печь не ставь...

Теперь даже в мыслях — Осип. Хотя говорит Иосиф — с человеком с таким именем всё обидное у Ефима связано. А когда встретятся, назовёт его Осипом. Этим самым разрушит стену между ними, подальше отбросит всё плохое, что разъединяет их. А потом Ефим много чего своего горестного поведает ему, чтобы понял Иосиф, почему тогда на пригорке он был с ним таким жестоким. А там будет видно: поймут ли друг друга да простят ли один одному взаимные обиды... И если даже не простят, не поймут, Ефиму,

наверное, всё равно станет легче: живой Иосиф, а чего больше надо? Хотя всё-таки Ефим иногда сомневается: Иосиф ли живёт на хуторе...

Хотелось, чтобы в Кошаре были Иосиф и Антон. Вдвоём. Да вместе. А что, может случиться и такое. Человеческие судьбы иной раз так переплетаются, что и вообразить невозможно. Пересекаются, соединяются, переплетаются на земле дороги, впрочем, как и всё в этой жизни, и от этого никуда не деться.

Женщины говорят, что на хуторе живёт кто-то один. Называет себя Антоном. Шофёр, подвозивший их из города, так сказывал. А шофёр давно знаком с обитателем Кошари. Антон человек хороший. Во всяком случае, таким его когда-то звал Ефим: в молодости работал у того на хуторе. Не долго работал, а хорошо познал человека, случается так... И после, когда время от времени проводывал того, убеждался, что такие, как Антон, дружбой дорожат.

Но если бы Ефиму сказали: “Выбирай, Антон или Иосиф”, — сейчас он выбрал бы Иосифа. И здесь нет ничего удивительного: у Антона была большая семья. А с семьёй, если в ней лад, нигде не пропадёшь. А Иосиф один, как горькая полевая былинка. Говорил же шофёр женщинам, будто у того человека, который живёт в Кошаре, была хозяйка, но умерла... А почему у Иосифа не могло быть хозяйки? Вон сколько повсюду после войны осталось одиноких горестных женщин, нуждающихся в утешении, сочувствии, мужском тепле. Может быть, нашёл где такую же несчастную, как сам, и жили. Вместе легче, чем одному...

Нет, нельзя Ефиму спокойно ходить по земле и неизвестно что думать. Он немедленно должен узнать, кто живёт в Кошаре. А то, что женщины говорят, дескать, не пустят одного в такую дорогу, так он и спрашивать ни у кого не будет. Это уж очень личное. И хотя давно уже Ефим, Михай, Николай, Игнатий со своей Надей и детьми, и Катя с сыночком живут одной семьёй, всё равно есть у него на душе нечто такое, о чём никому не скажешь. Пусть живут спокойно, и так настрадались...

И вот провозаают в дорогу... Вчера в Гуду приехали ещё засветло. Дорога привела лошадь на улицу, прямую и широкую, а по ней — к новому небольшому строению конторы лесоучастка (его после войны создали в Гуде). Таким временем здесь, как обычно после работы, собирались мужчины — лучшего места, чтобы поговорить, не найти. Тут же — руководство: начальник лесоучастка — бывший фронтовик, и не из рядовых, а подполковник в отставке Ерофей Костров. Человек уважаемый, прислали из города, награды китель оттягивают...

И те мужчины, которые были здесь, также воевали. Почти все Европу прошли, а Игнатий Соперский даже японца видел, окончил войну, как говорил, на Дальнем Востоке.

Вальщики леса, сучкорубы, шофёры лесовозов — все они по фронтовой привычке держались вместе, и после работы не спешили расходиться, пока не было переговорено о том, что сделано сегодня, что надо будет сделать завтра.

Сейчас Гуду населяют больше приезжие из мест, о которых здесь и слышали, и не слышали, были семейные и одинокие, мужчины и женщины. Люди сблизилась быстро — не было человека, который не изведал бы горе, а оно объединяет.

Были здесь и Игнатий с сыном Валиком. Были и Николай с Михеем. Буланчика они заметили ещё тогда, когда конь только показался из бора и начал спускаться по дороге к деревне. Первым телегу заметил Игнатий, сказал:

— Наконец-то едут! Я уже думал, что придётся отправляться на поиски.

— Да брось ты, Игнатий, — молвил Костров. — Какие поиски? Машины по шоссе туда-сюда ходят, кого-кого, а женщин с ребятишками никто не преминет.

Костров приехал сюда летом сорок пятого. К тому времени вода, затопившая Гуду после того, как взорвалась дамба, скатилась в русло реки. Поглядывая на Дубосну, сверкающую на солнце синевой и серебром, молвил: “Хорошее место. Здесь и жить хорошо, и работать”. Тогда и начали строить в Гуде лесоучасток, который и возглавил Костров. Конечно же, место для такого предприятия удобное — справа сразу за деревней начинаются леса,

огibaющие её дугой. Они подходят к шоссе и, перешагнув его, тянутся на многие километры, заходят в другой район, а через него — ещё дальше, неизвестно куда. И вдоль реки за дамбой (восстановили её военные) им нет ни конца, ни края.

Вывозить древесину было удобно — через мост на Забродье, а оттуда по дороге — в город, но не в свой райцентр, в другой — там лесокомбинат. Ждали, когда построят такое же предприятие в своём райцентре, тогда туда на лесовозах можно будет ездить хоть каждый день, теперь же — пока неудобно, приходится идти к шоссе и ждать попутку.

Возле конторы Ефим остановил Буланчика. И хотя конь шёл не спеша, старик, еле сдерживаясь, крикнул: “Да стой ты!” Вожжи у Петрика не забрал, торопливо спустился с телеги, тяжело поковылял к мужчинам, сказал:

— Здорово, кого не видел!

— Здорово, Ефим Михалыч, — ответил за всех Костров. — Задерживаешься, твои уже волнуются, — и, обращаясь к женщинам, будто укорил: — Что же вы...

— Ну да, — то ли подтвердил его слова, то ли спросил Игнатий, глядя на телегу, на которой всё ещё сидели его Надежда и дочь, и Катерина с сыном.

— Вот тебе и “ну да!..” — возмутилась Надя, легко прыгнула с телеги и, направляясь к мужу, крикнула: — Катя дядю Иосифа видела!

— Кучинского? — удивился Михай.

— А кого же ещё!

Какая здесь связь с тем, что задержались женщины, никто, кроме гуднянцев, не понимал. Да, была война... Страшная беда постигла Гуду. Немцы сожгли её. Почти все жители деревни, за исключением Ефима, Надежды и её детишек Валика и Светки (так те в тот страшный день в лесу были, потому и выжили), погибли... Правда, выжил и некто Иосиф Кучинский, так он же — отец полицая. А после войны многие не вернулись в Гуду — в память о них и в память о заживо сожжённых — обелиск среди деревни, это приезжие знали. Но не знали, кто такой Кучинский, и почему женщины, как только приехали, начали с него.

— Неужели Иосиф задержал? — спросил Михай. — Где он? Что с ним? Пусть бы приехал. Что, в городе прижился?..

— Да нет, не задержал, — сказала Катя. — Не знаю, прижился ли, но меня не признал. Даже разговаривать со мной не стал. Но чувствует моё сердце — он был на базаре! Там его видела, стоял с протянутой рукой.

— Знать, ошиблась, — возразил Николай. — Если бы он, как это не признал бы?

— Он, он, — сказал Ефим, возвращаясь к телеге и снимая с неё Петрика. — Больше некому. В Кошаре живёт. Иосиф знает туда дорогу, как-то ещё до войны открыл я ему её тайну. Трясина, болота там непроходимые. Правда, ещё один человек её знает, тот, кто проложил её, хозяин хутора, мой давнишний друг Антон. Но его оттуда выслали, раскулачив, ещё в тридцать седьмом. Только уже тогда Антон старше меня теперешнего был. Ну, может, и не старше, а такой же. Так сколько ему сейчас должно быть? Вряд ли он, пока не слышно, чтобы кто из ссылки вернулся — многих из Забродья выслали, из других деревень. Это нас в Гуде никого не тронули, не было у нас ни крепких хозяев, ни середняков — на бедной земле не разбогатеешь ни на своей мозоли, ни на чужой...

А Антон... Вот и думай, мог ли он сейчас ходить через болото, да еще в город навещать? Ему же, поди, под девяносто годков должно быть. Конечно, нет. Значит, Иосиф. Хотя завтра-послезавтра будет известно.

— Иосиф, говоришь, дядь Ефим. Говоришь, завтра будет известно. Он что, сюда придёт? — хмыкнул Михай.

— Брось! — возразил Ефим. — Сюда придёт... Тебе что?.. Тебе, поди, так как мне, не больно и не обидно и за себя, и за него. Вы с Николаем в сарае были, когда я его той ночью с пригорка в воду столкнул. Позабыл, как было?

— Так уж и столкнул! — смутился Михай. — Не позабыл. Помню. Это я шутя. Ты же его в грудь не толкал.

— Иной раз и словом не то, что столкнуть, пришибить можно. Шутя, говоришь... Так думай, когда, как и с кем шутить. Да над кем: не собака же Иосиф. Только сюда он сам не придёт. Я его знаю... Слыхал же, что Катя говорит: не признался, ушёл. Думаю, не зря, Михеюшка. А ты едва ли не "гы-гы". Я сам всё узнаю.

— Это как это? — спросил Михей.

Ефим молчал, будто не слышал, повернулся, подошёл к телеге, взял Петрика, поставил на землю. Мальчик смахнул сено со штанишек, побежал к Валику. Тот подхватил его на руки, подбросил, поймал, поставил рядом с собой на землю, не выпуская из своей большой руки маленькую ручку. Затем, показав на коня, что-то сказал мальчишке, должно быть, восхищаясь, как тот управлял Буланчиком.

Мужчины молчали, ждали, что будет дальше.

Старик протянул руку Светке, она всё ещё сидела на телеге, будто ждала приглашения.

— Давай и ты, внученька.

Светка легонько прыгнула на землю, чмокнула Ефима в небритую щеку:

— Ой, дедуля, ты всё со мной, как с маленькой.

— Ну, ну, коза, — растаял и еле заметно улыбнулся Ефим. Его седые усы сломались: — Ты и замуж пойдёшь, а всё равно останешься для меня маленькой...

На этот разговор мужчины внимания не обращали, их, приезжих, интересовало, кто таков Иосиф и что с ним...

— Николай, Михей, — сказала Надя, обращаясь к своим, гуднянцам, — дядь Ефим собирается плыть в Кошару. А это же — край света!

— Край, не край, а что он там забыл? — спросил Николай.

— А ты будто не понял, — раздражённо сказала Надя.

— Ты это брось, Ефим Михайлович! — сказал Николай. — Не юноша. В такую дорогу — сила нужна. Нет, мы тебя одного не пустим. Может, позже туда сплаваем. Или я, или Михей на весла сядем. А сейчас некогда, начальство завтра из леспромхоза приезжает, какую-то шишку из министерства привозит, собрание будет, то-сё... Словом, надо подождать.

— И мы с Катей говорим, что никто дядю одного туда не пустит, — сказала Надя.

— Вы что, сговорились? — возмутился Ефим. — Не пустит! Да я, может, уже семь годов жду!.. Живу и жду... Сыновей жду. Тебя, Игнатий, ждал. Всех ждал и жду, кто пришёл и кто не пришёл... И Иосифа жду. Жду с того самого дня, как он исчез, когда вы, Николай и Михей, искали его, да не нашли. Мы вместе с ним многое пережили, и хорошее у нас было, и плохое. Много чего такого, что прощать тяжело, он наделал, много чего и я. Не ангел, знаю. Только я никому никогда ни о чём не говорил. И своё прошлое не ворошил, и его былое не трогал. Зачем вам, молодым, это знать? Вы не должны пережить всего того, что мы пережили. Не надо, чтобы наше вам мешало. Потому всё и держу в себе. Оно со мной туда пойдёт (Ефим ткнул пальцем вниз). Да, я жду Иосифа. Ещё как жду! Иной раз, когда вспомню наш последний с ним разговор, там, на пригорке возле сарая (Ефим показал рукой в сторону реки), когда я ему такое сказанул, что мне и на том свете не простится, хочется закричать так, чтобы мир вздрогнул: "Иосиф, отзовись!"

Но не закричишь, силы нет. Пытался, крик вот тут каменеет (постучал себя в грудь), не продохнуть. И вот — ниточка... Не-е-ет, мужики. Не-е-ет, девушки. Сейчас меня и на цепи дня не удержать — разорву! Завтра же поплыву. Дорога, говоришь... Да я с закрытыми глазами каждый поворот реки преодолею! Да я каждую плаху, спрятанную в болоте, ночью найду! Дорога к хутору плахами вымощена. Хаживал там, и не раз. Ещё в молодости ходил, и — ничего. А когда пошёл туда в тридцать седьмом, так кладки те мне всей своей тяжестью на душу легли: по ним выводили с хутора Антона и его детей и внуков. Его хутор был. Много лет хозяйничал он там со своей семьёй. Жил, никому дорогу не перешёл, никого не трогал. И что? За это всю семью своего гнезда лишить? Ладно, самого — ещё ничего, мы старые,

за свою жизнь много горя хлебнули, пострадались, мы уже ничего не боимся. Но детишек за что?.. Там же, на кладках и мимо них следы от лапотков видел я. Маленькие, некоторые на такую ножку, как у Катиного Петрика. За что, а?.. Здесь уже не только кресты на душе. Здесь уже раны кровоточат, да ещё как... Я же сам сызмальства в лапотках с чужими людьми по земле ходил, ни мать, ни отца не знал. Спасибо, среди людей не сгинул, хотя всякое бывало... И теперь думаю: а что, когда детишек тех от родителей оторвали и от деда с бабой, да куда подальше от них увели? Что это такое, детей от отца-матери оторвать? Не дай Бог!..

Меня тогда, когда людей раскулачивали, моя Марфушка к Антону направилась. Велела: “Детей приведи, пусть у нас поживут, а то чего доброго — отберут от родителей, да от деда с бабой. А мы, коли что, скажем, мол, родичи”.

Понимала, и я понимал, что старых и взрослых нам не спасти. Не была бы женщина, Марфушка, — за чужих детей её сердце кровью обливалось. Но опоздал я. Хотя, если бы и попал туда, как выводили детишек с хутора, вряд ли смог бы чем помочь. Раньше бы мне на день-два появиться там. Я Иосифу говорил, что туда иду. Он со мной идти хотел, да не взял я его. Может быть, в лодке по течению, да вдвоём попеременно на веслах и успели бы. А если успели бы, что бы там ни было, детишек увести не дали бы. И он, как и я, сиротского хлеба наелся, правда, пока его отец не привёз мачеху, заменившую ему мать. Удивительная женщина была, мачеха его, тут ничего не скажешь... Нет, мы бы с ним детишек в обиду не дали бы, я его знаю. Вот и должен я знать, Антон там или Иосиф. Конечно, хорошо было бы, если бы и тот, и этот...

Ефима слушали, не перебивая. Светка и Петрик пошли домой, понесли покушки. Валик стоял около отца, внимательно смотрел на старика. Его рассказ затронул каждого: страшные кровавые следы в душах людей оставила война. Время идёт, а следы те не затягиваются, не залечиваются раны. Особенно каждого трогает, когда говорят о детях. Нет ничего более святого на свете, чем они. И оторвать их от родителей... Здесь для меня чужое — как своё. И неважно, кто детишек отрывал от родных, свои или иноземцы: и те, и эти — варвары!

Ефим умолк, долгим взором обвёл мужчин, дескать, поймите меня... Те молчали, понимали, что старику надо было выговориться. Понимали, что на душе его тяжесть особенная — детишек мог уберечь, да не смог. Понимали, что тяжесть эту, чувство вины он давно в себе носит — облегчение ему надо. Понимали, считает себя виноватым не только за то, что не смог забрать детишек, но и за Антона, которому не смог помочь, и за Иосифа, которого в паводок “столкнул” в воду с кусочка суши, на котором нашёл себе спасенье. И вот появилась надежда сбросить хоть какую-то часть тяжести. Но для этого надо убедиться, что Иосиф жив. И вот когда подвернулся случай облегчить душу, оказывается, люди, с которыми столько пережил, с которыми живёт, как в одной семье, — против.

Ефим стоял и думал, что делать. Подчиниться односельчанам, которые, конечно же, желают ему добра, волнуются за него, просят не спешить плыть к хутору, подождать, пока у них появится возможность помочь ему в такой далёкой дороге, или сделать по-своему — не терять время... Для него сейчас дорога каждая минута. Ведь мало ли что не сегодня, так завтра может случиться и с ним, и с Иосифом, или с Антоном, если тот на хуторе. Ведь все трое они люди старые и, как говорят, для каждого день — век... И в общем...

А плыть ему есть на чём. Возле пригорка на реке у берега качается привязанная к столбику его, Ефима, лодка. Двухвёсельная, хорошо просмоленная, с широким дном. В ней, если надо, можно вдвоём прилечь, причалив в укромном месте. В ней могут плыть четыре человека. Хорошая лодка, ни у кого такой нет.

И есть вторая лодка, Иосифа. Её тот оставил односельчанам в ту весеннюю ночь сорок пятого года, когда взорвалась дамба, и вода накрыла Гуду, когда здесь творилось такое — не дай Бог никому слышать и видеть. Оставил Иосиф свою лодку, а сам после словесной перепалки с Ефимом как в воду канул.

Утром в лодке, которую оставил Иосиф, мужчины обнаружили еду, мешок ржи и завернутую в скатерть икону Божьей Матери. Когда человек идёт из дома и берёт с собой еду, а ещё и икону, конечно же, возвращаться он не собирается. Одно и сегодня непонятно Ефиму: Иосиф сам поджёт свой дом, или из печи выпал уголёк?.. Хотя может быть и такое: кто-то из мужиков с Забродья, воспользовавшись неразберихой, приплыл сюда да таким образом расквитался с отцом полиция за его сына — тот, случилось, и там лютотавал... Впрочем, сам поджечь вряд ли мог: говорил же тогда ему, Ефиму, чтобы люди плыли к его, Иосифа, дому. Дескать, тёплый ещё...

Хорошо, поплыли бы. Дом был крепкий, но затоплен до подоконников... Что, ночевали бы на чердаке, а днём к пригорку плавали?.. А Иосиф как?.. И почему он тогда еду и икону забрал из дома, куда собирался податься, если на пригорке спасения искал?..

Одни вопросы без ответов...

Пожалуй, Иосиф тогда всё говорил и делал сторяча. Наверное, хотел любой ценой им помочь, потому и суетился, бросался, как загнанный в клетку. Вот и спросит Ефим у него: “Скажи, что тогда тебя из дома гнало, ибо я и сейчас не знаю”.

Той едой тогда долго детей поддерживали, Валика и Светку. И Катю — дитя родила. Зерно чуть позже в Забродье на жерновах смолоти, на лодке Иосифа — их лодки наводнение снесло — Ефим и Николай туда плавали. Надя тут же на пригорке в печке пекла хлеб, с голоду не пухли. Да и Савелий Косманович приплывал сюда, привозил свой паёк и ещё что-нибудь из продовольствия, люди передавали. А икону забрала Надя и отдала Кате. Теперь икона в её доме в красном углу, иной раз Ефим тайком перекрестится: “Боже, сохрани и помилуй рабов твоих”. И назовёт поименно: “Петрика, Валентина, Светлану, Катерину, Надежду, Игнатия, Николая, Михея...” А потом: “Никодима и Ивана”.

Называл их отдельно, ведь они где-то далеко, как отрезаны от всех. Себя не называл. Губы будто слипались: пожалуй, за свою долгую и очень непростую жизнь немало чего сделал такого, что не надо было бы делать. И Иосифа не называл, тот тоже, как и Ефим, — большой грешник. А почему грешник Ефим за других просит, так ведь этим самым свою душу очистить хочет: пошли на меня любую кару, если в чём виноват перед Тобой и людьми, а их сохрани и помилуй. И они, как все люди, в чём-то грешны, да каждый по-своему, так прошу, на меня положи грехи их.

И сегодня утром, собираясь в дорогу, Ефим трижды лоб перекрестил. А потом издали, с пригорка, дрожащей рукой крестным знаменем осенил деревню да всех, кто здесь живёт: место это многострадальное, святое, вот и задрожала рука, задрожали пальцы, сложенные в щепоть. Есть или нет Бог, не его ума дело. Только перекрестился Ефим и деревню перекрестил не на всякий случай, а с надеждой и верой: должен быть, а кто же создал небо и землю, само по себе ничего не бывает. И душа, пожалуй, есть, иначе не болело бы так в груди — настрадалась, натерпелась...

И лодку перекрестил: Валик в ней будет плыть, большой уже, а всё равно дитя.

Лодка Иосифа немного поменьше, чем у Ефима, и более лёгкая. Но так же хорошо просмоленная. Ею мужчины не пользовались. Тогда, когда Иосиф оставил лодку, утром, не найдя его, Николай и Михей затащили её на пригорок — обязательно вернётся за ней, куда ему без неё, когда окрест всё затоплено.

Но не вернулся Иосиф и в тот день, и через день, и через неделю, да и через семь лет... До ледостава желтело на пригорке суденышко Иосифа, потом мужики занесли в сарай зимовать: “Пусть здесь дожидается хозяина”, — сказал тогда Николай...

Из-за неё, из-за лодки, у Ефима, Николая и Михея были неприятности. Вскоре после того, как исчез Иосиф, участковый Савелий Косманович, увидев его лодку, заподозрил их в том, что они присвоили её. Но как? Не иначе, как совершив над ним самосуд — отец полиция.

Савелий приплыл сюда через две недели после того, как взорвалась дамба. И его понять можно: все здесь, а одного человека нет. Где он?.. Где-где, чтобы мы знали...

Участковый был злой. Решил, что убили они Кучинского. Но жалел их, как тогда считал, преступников. Будто между прочим подсказал им, дескать, лучше было бы, чтобы лодку снесло наводнение.

Нет, Савельюшка, если бы так, то всё просто решилась бы, легко развязался бы этот узел: исчез Иосиф, и лодки его нет, значит, сам где-то сгинул. Наводнение же было досель невиданное, всё вокруг на многие вёрсты накрыло, благо пригорок и сарай на нём миловало. Здесь тогда такое творилось — ребятишек спасти бы да самим уцелеть, не до Иосифа было, он особняком в своём доме жил. Хотя было, приплыл сюда, но не приняли его. Исчез бесследно... А если так, как ты посоветовал, так какой с нас спрос?

От лодки они не избавились и после подсказки Савелия. Знали, что этим вызывают на себя подозрение. Пусть! Когда-то же должен отыскаться Иосиф. Только живым, или... А грех на нас есть, мы его, вернее, я, Ефим Боровец, изгнал, но не более того. На мне и вина.

А лодку его Савелий потом много раз видел, не прятали. Но ничего не говорил. Ефим однажды, когда просмаливал её на пригорке (было это после того, как искали тело Иосифа, но не нашли), молвил:

— Вернётся Иосиф — бери, в целостности да в сохранности!

Савелий ничего не ответил, но заметил Ефим, стал мягче лицом, подал ему руку и, поскрипывая хромовыми сапогами, пошёл к Михею и Николаю, курившим в отдалении.

Семь лет никто не пользовался лодкой Иосифа Кучинского. Хотя каждую весну на день-два спускали её на воду. Перед этим Ефим постукивал по бортам и по днищу, прислушивался к звуку и, убедившись, что доски крепкие, древоточцем не повреждены, просмаливал. Только не может так быть бесконечно, когда-то истлеет, пусть бы до этого времени хозяйина дождалась, Иосифа... Вот только, собираясь в Кошару, Иосиф думал: “А вдруг там действительно Антон”.

Было в этом что-то не совсем искреннее, словно выбирал, кто ему нужен. Уже вслух продолжал: “Хорошо было бы, чтобы там — и тот, и этот. Хотя, конечно же, Иосиф на хуторе”.

— Дядя, — почти раздражённо сказал Михей, — если ты не уверен, так, может...

— Нет, Михеюшка, в том-то и дело, что уверен, — перебил его Ефим. — Антоном Иосиф назвался. Думаю, хотел, чтобы Катя не узнала его. Но почему? Неужели всё ещё обижается на меня, на всех нас? А что с хозяйкой на хуторе жил — так жалостливый он был. Я знаю. Может, где встретил какую страдальцу, их же после войны, да ещё и сейчас много на земле, все в утешении нуждаются. Так что занимайтесь своими делами, а я как-нибудь потихоньку завтра и уйду.

Ефим повернулся и неторопливо направился к пригорку у реки, на котором стоял старый сарай. Когда отстраивали деревню, его не разобрали, оставили рыбакам. Они в нём прятали снасти. Не разрушили и печку на пригорке: место удобное, рядом река, мужики часто собирались здесь, варили уху, брали “фронтные” сто граммов, разговаривали.

Мужчины молча смотрели вслед Ефиму. Молчали и Надя с Катей: что ты ему скажешь, когда заупрямился. Хотя Катя думала, что всё-таки вечером отговорит старика, попросит подождать, пока кто из мужчин сможет плыть с ним. За столом попробует поговорить со стариком. Он, как всегда, придёт ужинать. Ефим, хоть ему уже давно поставили дом, каждое утро, в обед и вечером приходил к Кате, к Петрику, которого называл внучонком. (Мальчик считал его своим дедушкой. Катя смотрела за стариком, как за отцом.)

Когда Кате первой в Гуде построили дом, она согласилась пойти туда только с тем условием, что с ней будет жить и Надя с детьми. Сразу же после того, как заселились в новый дом, мужчины начали возводить сруб Соперским. К зиме дом возвели, и Надя со своими детишками перебралась туда, где и ждала мужа, а они отца: Игнатий писал, что скоро вернётся,

а пока задерживается в армии. Вернулся он только осенью сорок шестого. Уже в свой дом.

А зимой сорок пятого Катя едва ли не насильно привела к себе Ефима, он вместе с Николаем и Михеем жил в сарае, к которому сейчас направлялся старик.

Мужчины по-прежнему молчали, не знали, как быть. Вдруг Валик, он стоял возле них, сказал:

— Мама, отец, пустите меня с дедом Ефимом. Как же он один поплывёт?.. Да и мне нужно увидеть деда Иосифа. — И крикнул вдогонку Ефиму: — Деда, возьми меня с собой!

Ефим, не пройдя и десятка шагов, остановился, не торопясь повернулся, неопределённо пожал плечами:

— Валентин, надобности такой нет. Дорога мне известная. Ничего страшного: туда по течению легко доберусь. А назад как-нибудь потихоньку шестом около берега буду отталкиваться. Думаю, назад будем плыть вдвоём. Пусть с Иосифом, пусть с Антоном. А может быть... А тебе что, Иосиф нужен?

Что имел в виду старик, сказав “а может быть”, мужчинам было непонятно. И Валику — тоже.

Он ответил не сразу, подошёл к старику, остановился рядом, произнёс:

— Обидел я деда Иосифа. Мальчишкой был, а помню.

Ефим внимательно посмотрел на парня, затем решительно положил тому руку на плечо, молвил:

— Помнишь, оказывается.

— Как же...

— Ты обидел старика Кучинского? — удивился Игнатий. — Как? Когда?

— После войны. Зимой. Говорю, ещё мальчишкой был. Лёд в деда бросал...

— Дурачился, — рассудительно сказала Катя, вступаясь за парня. — Я видела, Иосиф не обиделся, понимал, что Валик хочет поиграть.

— Ну что, мать, пустим? — Игнатий глянул на жену. — Конечно, если дед возьмёт.

— Пустим, если возьмёт, — ответила Катя и уголком платка вытерла непрошенную слезу.

— Возьмёт, а как же, — сказал Ефим. — Коли так, ещё как возьмёт! — И, заглядывая Валику в глаза, добавил: — Значит, помнишь. А как на весах сидишь, знаю, рука у тебя уже давно крепкая. Что скажете, мужики?

Старик, ожидая ответа, внимательно посмотрел на мужчин.

— А мы, Ефим Михайлович, хорошо знаем, какая у Валентина Игнатьевича рука, — сказал Костров. — Парень он самостоятельный, на машине научился ездить, на тракторе. Были у меня в батальоне такие ребята: с ними — хоть в разведку, хоть в бой.

— И я давно это знаю! — сказал старик. — Да мы с Валентином — ого!..

Не договорил, запнулся, отвернулся — непрошенная слеза вдруг старика пошибла... Парень решительно обнял его, сказал:

— Мы с дедом куда хочешь доплывём!

Раньше Валик никогда не видел слёз на глазах старика...

И вот Николай, Михей, Игнатий, Надя, Светка, Катя с Петриком провожают Ефима и Валика в дорогу. Катя, хоть и собиралась вчера вечером отговаривать старика, когда он пришёл на ужин, передумала: коль решил, значит, надо ему... Ставя на стол ужин, пока Ефим мыл на кухне руки, сказала, что ему с Валиком собрала в дорогу сала, головку масла, клин сыра, варёные яйца, хлеб и даже ведро картошки.

— Ты нас туда словно зимовать отправляешь, — улыбнулся старик, — зачем всего столько?

— Зимовать не зимовать, а дорога неблизкая. Да и дядя Иосиф домашнего отведаёт, откуда у него такая еда, коль стоял с протянутой рукой.

— Ну, тогда возьму всё, — сказал старик, садясь за стол.

Петрик и Катя уже поужинали, и теперь мальчик спал в небольшой комнате, которую, как только поставили дом, ему отгородил Ефим.

Ужинал один. Катя упаковывала корзинку, укладывая туда, как заметил Ефим, и бутылку. Подумал — пригодится...

...И вот теперь Ефим и Валик отпльвали.

— Ну, с Богом, — сказал Ефим, убедившись, что всё как и надо: и лодка не протекает, и вещи хорошо размещены в ней, и весла уже в уключинах, и даже шест лежит на дне — пригодится, как будут плыть назад против течения.

Старик, даже не пожав никому руки, дескать, ненадолго плывём, нагнулся, обнял Петрика. Тот попробовал заплакать, но Ефим успокоил его, сказав: “Ну-ну, ты же мужик, мамке помогай, большой уже...” — и потихоньку зашёл в лодку. Она качнулась, он устоял, затем уверенно прошёл вперёд, устроился на носу судёнышка.

Валик не спеша сел на вёсла, мужчины оттолкнули лодку от берега, река подхватила её, понесла.

— Дядя! — не сдержалась Катя. — Смотрите, не задерживайтесь там. И Иосифу скажи, что ждём его.

— Неужто не скажу! — крикнул Ефим. — Обязательно скажу. Без него не вернусь.

2

...Долго лежал на земле Иосиф. Вспоминал, как привёз сюда Теклю. Хутор ей нравился. Он заменил ей дом. Нравился лес вокруг хутора. Река нравилась. Ведь Дубосна протекает недалеко и от её деревни, в которой она родилась, жила с родителями, из которой когда-то за Авдея замуж пошла. Но знала Текля, что теперь ей туда пути нет и, пожалуй, уже никогда не будет. Знала, если бы и пришла в деревню, опять очутилась бы в Сибири: никто за неё не заступился бы, как не заступился и тогда, когда ссылали.

И болота здешние любила: клюквы, голубики, по берегам — брусники — россыпи бессметны. А ещё болота оберегали ее и Иосифа от тех, кого они боялись. Если бы не было болот, сюда уже давно добрались бы люди... Здесь с Иосифом ей было спокойно. И она радовалась этому спокойствию, к которому, кажется, привыкла сразу, как приплыли сюда. Хотя спокойной она была уже вскоре после того, как убежали из города, где Иосиф нищенкой встретил её на базаре и, как говорила, спас от погибели.

Кажется, успокоилась сразу, как только город исчез за первым же поворотом реки. Наверное, её успокоило то, что за ними никто не гнался. Позже как-то сказала, что была уверена, что, если бы их даже и догнали те, от кого сбежала, Иосиф кровушкой умьлся бы, но её не отдал бы.

Значит, тогда она думала, что Иосиф не боится, а он боялся, и ещё как, только не показывал этого. Он уверенно правил своим судёнышком, заставлял себя не оглядываться, хотя время от времени вкрадчиво косился назад, думая, как и чем будет отбиваться, если догонят. Веслом, шестом?.. А Текля, обессиленная, истрадавшаяся, как легла на дно челна на его стёганку, так сразу и уснула.

Какое же это было дорогое для него мгновение, когда она, укладываясь на стёганку, говорила: “Мне с тобой, Иосиф, ничего не страшно, даже смерть...”

Он тогда ещё ничего не знал о том, что было с ней все эти долгие годы их разлуки, не представлял того, что она пережила за Авдеем и здесь, и в Сибири. Но когда говорила, что ей с ним, Иосифом, ничего не страшно, понимал: жизнь её с Авдеем была ужасная. Понимал, что Теклюшка решилась убежать из ссылки не только потому, чтобы его увидеть, — очень тяжело ей было на чужбине, — а потому, что на своей земле хотела умереть. Понимал также, как нелегко ей было идти по чужой земле, понимал, если бы не добрые люди, встречавшиеся на её пути, давно бы ей лежать где-то там...

К хутору плыли долго. Хотя река осенью уже не такая быстрая, как весной и в начале лета, местами даже мелкая, но челнок назад толкала, и не слабо. Уже и тогда не очень сильный Иосиф — годы брали своё — ощущал это хорошо. Хотя сразу же, как посадил её в челн, напрягаясь всем телом

и чувствуя мощь в руках, решительность и даже какую-то злобу, будто бросаая вызов реке, словно живому существу, которое вознамерилось препятствовать ему, понимал, что уходит силушка, уходит...

Реку он хорошо знал с детства. Как говорят, на реке родился. Её нельзя было изъять из его жизни, отобрать, запретить к ней приближаться, как нельзя было отобрать землю, лес, воздух, небо.

Раньше река всегда разделяла его и Теклюшку. Он жил на правом берегу Дубосны, она — на левом, далеко, за десяток вёрст от него. В молодости, когда встречались, летом он плывал к Текле на лодке, прятал её в заводи, подальше от деревни, чтобы не заметили местные парни, потом шёл к ней на встречу. Обычно встречались где-нибудь в укромном месте, заранее договариваясь.

Бывало, простаивали под каким-нибудь деревом ночь напролёт. А утром, когда она бежала домой, Иосиф против течения плыл в Гуду, усталости не чувствовал, грёб так, что гнулись весла...

Плавал он к Теклюшке и такую порою, как сейчас. В такое время, ещё не осеннее, но уже и не летнее, когда вёз её в челне по реке из города на хутор. Дубосна была спокойной, словно выдохлась за весну и лето. Она уже не бежала, а тихо, будто в каком-то раздумье, катила свои воды, слабо толкая чёлн назад, хотя всё равно чувствительно для него.

Тогда Иосиф, как только мог быстро, гнал чёлн, но всё равно его судёнышко скользило по реке осторожно, почти беззвучно. А сам он всё время был в напряжении, натянутый, словно тетива, готовый ко всему, что только могло произойти с ними на реке.

Весло, а где надо было, и шест держал сильно, часто поглядывал на Теклюшку, на её лицо — спокойная ли... Смотрел на неё, седовласую, смуглую, со сплетением морщинок под закрытыми глазами и на опавших щеках, вокруг обветренных и местами потрескавшихся губ, а видел совсем иную — молодую. Видел ту далёкую, которую так сильно любил: светловолосую, со всегдашней лёгкой полуулыбкой на пухлых губах, розовощёкую, с весёлым блеском голубых глаз... И, кажется, ощущал, как вокруг неё колеблется какой-то неуловимый, еле заметный свет, тот свет, который когда-то пьяняще манил к себе, с которым он очень хотел соединиться, но так и не смог...

Этот неуловимый свет он помнил всегда. И всегда ощущал его, даже когда Теклюшки не было рядом. Хотя, кажется, свет тот иногда куда-то исчезал, особенно тогда, когда ничто не тревожило и не пугало Иосифа. Свет исчезал, словно растаивал, а он всё равно ощущал его где-то рядом... И каждый раз появлялся, когда Иосифу было тяжело. Тогда он, словно в бреду, тянулся к этому свету, и когда казалось — вот-вот дотронется, свет развеивался, вновь куда-то исчезал, такой желанный и такой неуловимый...

Постепенно вечерело. Вода сначала на перекатах, затем на стрежне осветилась сверкающей желтизной. И желтизна та, постепенно тускнея, ещё долго бежала против движения челна, пока, наконец, не спряталась под отяжелевшей тёмной водой. И сразу же на реку легла сверкающая краснота. На воде проявились зелёные, в жёлтых пятнах кроны деревьев, закачались вместе с коричневыми, будто размытыми стволами. Наконец, все эти цвета потускнели, слились в нечто тяжёлое, тёмно-серое.

Утихли птичьи голоса. Умолкли лягушки. Солнце ещё полностью не скатилось за лес, а на небе выявилась бледно-жёлтая огромная луна. Река вздохнула прохладой, над ней за клубился сизый лёгкий туман и вскоре начал раскручиваться над уже тёмной, густой водой.

Иосиф понимал, что никто их не преследовал. А те, кому Теклюшка была нужна, наверное, не заметили, когда и куда она исчезла. Иначе река давно бы несла пустой челн...

И уже устоявшимся вечером, когда вокруг становится всё тише и тише, они приплыли туда, где Дубосна не спеша проходит возле болота, за которым и находится хутор Кошара. В этом месте в заводи он всегда прятал чёлн.

Напротив хутора, затерянного на высоком клочке земли за неширокой, но плотной полосой леса, за большим болотом, за колючей грядой сосняка попеременно с можжевельником, Иосиф завернул своё судёнышко к старице,

заросшей высокой, в человеческий рост, травой. Острый длинный нос челнока тихо раздвигал плотный травяной покров, который потом соединялся сразу же за кормой, и вскоре долблётка, еле слышно шаркнув дном по земле, остановилась. Теклюшка открыла глаза, сказала, глядя на Иосифа:

— Наконец-то выспалась. Хотя спала и не спала. Всё слышала: и воду, и птиц, и какой-то всплеск. И ощущала, как садится солнце, но глаз не раскрывала — кого мне бояться, когда ты рядом?

— Вот и хорошо, что выспалась, — сказал он. — Небось, устала.

Он посмотрел на её босые ноги, стянул свои сапоги, размотал портянки, подал ей:

— Обуйся. Сначала по лесу пойдём. Корни, шишки, да мало ли что под ноги попадёт. Потом — через болото. Топь. Затем — опять лес. Гряда.

Она взяла портянки, обернула ноги, осторожно, морщась, натянула сапоги и будто удивилась:

— А ты?

— Мне всё равно, что в сапогах, что так. Я больше так хожу. Везде. У меня и лапти есть. Мягкие. И не одна пара. Пока у тебя заживут ноги, в лаптях ходить будешь. А потом я тебе из города мягкую обувку привезу. — Помолчал немного, вернулся к прежнему: — Говоришь, устала...

— Ещё как. И от страха, и от бессонницы. Если бы ты знал, сколько ночей я уже не спала. Ночью меня в каком-то сарае держали. Отстояв день на ногах, не уснёшь. Ноги окаменеют, да так болят, хоть вой. Но не завоешь, рот быстро заткнут. Вот и катаешься ночь по земле на соломе. А утром — снова на базар.

Ты можешь спросить, почему не убежала. Ответу: куда? Знала, догонят, убьют или в милицию отведут: берите, беглая!.. Вот и стояла, ждала, когда дух из меня выйдет... А если бы и убежала, так не встретились бы мы с тобой, дорогой ты мой Осипка.

Правда, признаюсь тебе, всё ждала, когда убьют меня, я же совсем ослабла, изнемогла. Зачем им немощная? Знала, что просто так не отпустят: вдруг пойду к властям, не побоюсь, что беглая, расскажу, как издевались надо мной да над такими, как я. Ведь они в каком-то другом месте держали ещё двух старых мужчин, тоже заставляя просить подаяние и отдавать им деньги.

А знаешь, как я к ним попала?

— Откуда мне знать?..

— Приехала я в город, вышла из поезда — одна-одинёшенька, нет у меня здесь никого. Стою, растерялась. Долго стояла, какие-то двое мужчин рядом прохаживались, нехорошо на меня посматривали. Сердце обмерло, подумала, ищут беглянку. Поезд какой-то пришёл, из него люди высypали, я и скрылась в толпе, толпа и вынесла меня в город. Долго по улицам ходила, думала, куда идти? Домой? Так дома у меня нет. Кто где приютит?.. К тебе?.. У тебя своя семья... Вернулась на станцию, стою, размышляю. А тут те двое и подошли. Ну, и повели. Думала, назад отправят, а они меня — сначала в сарай, а потом на базаре у ворот поставили подаянье просить.

— А власть? Людей кликнула бы.

— Люди, говоришь... Люди видят — ведут! Открыто ведут. А кто так может вести? Конечно же, власть. Кто бросился бы на помощь? Боялась власти и боюсь. Шла и боялась, что назад в Сибирь дороги не выдержу. Умру. Где умру, там и заруют. Видела, как зарывали тех, кто умирал в дороге, — хорошо, если в какой ящик положат... Думала, коль суждено мне умереть, с тобой не повидавшись, так пусть на своей земле. Чужая земля — она тяжёлая, холодная. Помнят её мои руки, не раз и не два падала на неё, когда домой шла. А уж как ноги помнят, так и говорить не надо!.. Веришь ли, душа кровью обливалась: всё, конец тебе, Теклюшка! А когда в сарай заперли, поняла: не власть это. И надежда было появилась: жива буду. Покорилаась.

— Как же так? — сказал он тогда. — Над тобой издевались. Коль не тогда, так позже могла людей позвать. И где те негодяи?

Внутри у Иосифа всё кипело. Ему не хватало воздуха, пересыхали губы, говорить было тяжело.

— А что люди? — пожала она плечами. — Люди такие, чем больше страдальческий вид у нищего, тем больше подают. Одни — сочувствуя, другие — будто откупаясь от чужого горя. Третьи проходят мимо, даже не взглянув на тебя. В твою душу никто не лезет. У людей и своих забот хватает. А сколько ещё горя у людей! Видела, долго по земле шла. Правда, если бы не люди, не дошла бы. Люди — они разные. И там, где была, и здесь, у нас. А кто издевался надо мной, откуда мне знать? Мужчины какие-то и женщина. Только зачем они тебе? Ни ты, никто ничего не сможет изменить. Давай не будем об этом. Не хочу и тебя тревожить, и сама не хочу вспоминать то, что было. Одно скажу: может быть, если бы ты сегодня не увидел меня, то я недолго пожила бы на этом свете. Или они меня уничтожили бы, или сама не выдержала бы, прости меня, Господи. Такие страдания терпеть невозможно. Не раз об этом думала. Бывало, наберу глупости в голову, а когда рука уже к чему-то страшному тянется, чтобы на шею набросить, — перекрещусь и как очнусь: какая же я дура!.. Что удумала! Зачем же тогда убегала? Зачем столько страдала, пока добралась сюда?..

А теперь знаю, ради чего... Нас же с тобой, Осип, сегодня сам Бог свёл. За твои и мои страдания.

— Свёл, Теклюшка, свёл, — глухо произнёс он.

— Но где мы? Ты же так и не сказал.

— В укромном месте. Считаю, дома.

Молвил и вздрогнул: нет у него своего дома. Есть приют в чужом жилище. Причём он сам себе его определил.

Она заметила, что Иосиф засмутился, спросила:

— Что-то не то?

— Почему же. То, то. Там, за грядой леса, за болотом — дом, — Иосиф показал рукой вперёд. — Хутор там. Чужой. Я на нём давно живу, с весны сорок пятого. Хозяина, как и тебя с Авдеем, раскулачили, с семьёй сослали. Детей у него много было и внуков много. И совсем маленькие были, и большие. Всех вывели с хутора. Вот я и живу здесь, и по своей воле хутор берегу. Где что подлажу, где что почию. Словом, смотрю, чтобы ничего не развалилось, не истлело. Может быть, со временем появится или хозяин, или кто из его семьи. А может, и нет. А всё равно хутор берегу, не только живу на нём. Часто думал: придёт хозяин или кто из его семьи, застанет меня ещё живого, повинюсь, скажу, что не испоганил я ваше жилище, не разграбил. Скажу, так уж вышло, что было у меня тяжёлое время, и ваш хутор стал мне спасением. И ваше право прогнать меня или оставить доживать в уголке в кошаре, я же сам себя содержу, обузой не буду. А нет — так пойду по миру, пока ноги носят.

— Что же это такое — пойти по миру? — ужаснулась тогда Теклюшка и прильнула к нему, прижалась всем телом, да так, что чёлн, хотя и был наполовину на земле, закачался, словно на воде.

Иосиф пошатнулся, но устоял, крепче обнял её, ощутил, как она вся трясётся, словно в лихорадке. Долго не отпускал, ожидая, когда она успокоится. Чувствовал, как под его сердцем трепещет её сердце. А когда дрожь унялась, проговорил:

— Ну, ну, успокойся. Больше никто тебя не обидит. Пошли. Говорю же, считай, дома ты.

— А твой дом что? — спросила она, немного успокоившись.

Иосиф не сразу ответил, с минуту помолчал, шумно вздохнул, сказал:

— Мой? Нет его. Сгинул. Потом расскажу, потом, — и, придерживая Теклю под локоть, легонько подтолкнул вперёд.

Когда она ступила на землю, нагнулся, взял с челна стёганку, осторожно набросил Текле на плечи:

— Пока хоть так согрейся. Дома печь протопим.

— Но...

Он взял Теклю за руку, повёл за собой, сказал:

— Может быть, как-нибудь своё жилище приобретём, подожди маленько. У меня кое-какие деньги есть, собрал за это время, пока здесь живу. Друг помогал. Архип. Я тебе о нём уже говорил. Ему я возил грибы, ягоды,

зайчатину, заячьи шкурки. А он сбывал в городе на базаре. На еду мне хватало, и на одежду — тоже. Что-то ещё оставалось. А о своём жилье не помышлял. А сейчас с тобой вместе решать будем. Может, в какой деревне домик присмотрим.

— Нет, нет, — замахала она руками. — Придём к людям, кто-то найдётся да спросит, кто мы, откуда. Да и власть — сельсовет...

— Оно-то так, — согласился Иосиф. — Правду говоришь, кто-то найдётся. Помню, у нас Фаддей был. Старый человек. Набожный. Всё Писание читал. Никому дороги не перешёл. Жил сам по себе. Но если надо было, людям помогал. Говорил, как сейчас помню: "...Если упадёт один, то другой подымет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его".

Молвил однажды это при людях, никого чужого не было. А через сутки его — за ворот да в машину, из района приехала. Помню, вели, один молодой в длинной шинели, старика наганом в спину толкал: "Давай, давай, товарищей нашёл! И где? Там, где опиум для народа. Контра!"

А Фаддей ему: "Детки, товарищ — это слово Божье. Нельзя его так понимать, как вы понимаете. Все мы товарищи. Все должны подавать руку тому, кто вдруг упадёт".

А те взбесились: "Будут тебе товарищи!"

Запомнилось мне, что никто из нас, мужиков со всей деревни, даже слова за Фаддея не молвил. Боялись. И я там был, и Ефим, и другие такие же пожилые мужики, как мы. Я посмотрел на Ефима, а тот на меня: что делать?.. Хотелось сказать тем парням, которые вели Фаддея: "Что же вы так со старым человеком? Он же никому зла не чинил. И не стыдно вам?" Не сказал, Ефим не позволил: "Молчи! И Фаддея не спасёшь, и сам в беду попадёшь".

Вот оно что, Теклошка!.. Так что ты правду говоришь, в деревне люди. Хотя и они разные. Теперь бы я за Фаддея заступился, ничто не остановило бы меня. А тогда...

— Лучше здесь поживём, сколько сможем, — сказала она. — Ты вот уже сколько живёшь, и ничего. Тебе кто подсказал сюда идти, или сам это место отыскал?

— И да, и нет. Дамбу около Гуды перед войной военные насыпали, говорят, где-то недалеко от нас в лесу полигон хотели делать. Наводнения им препятствовали, вот они и отгородили реку. Дамба воду держала. И до войны, и в войну. А в сорок пятом было такое наводнение, какого я на своём веку и не видел. Взорвалась дамба. Я после понял, заминирована была. Как-то видел в войну, когда наши уже близко были, немцы на дамбе копали. Думал, окопы, а оно вон что — мины укладывали. А я и не догадался после никому сказать об этом. Хотя наши солдаты по ней прошли, ничего не нашли. А всё равно себя вину: почему не сказал, может быть, прислушались бы, более внимательно дамбу осмотрели. Вот и взорвалась она. Вода хлынула. Смела землянки — Гуду летом сорок третьего немцы сожгли. Один мой дом тогда только и уцелел. Людей столько погибло... Мало кто выжил. Ефим, если помнишь его, прежний мой друг, Надя Соперская и двое её детишек, мальчик и девочка, и Катя Журовец.

— Помню Ефима, а как же, и Надю помню. А Катю — нет.

— Из Забродья она.

— А ты как с домом остался?

Сморщился Иосиф, как от боли:

— Мой сын заодно с немцем был. Вот и уцелел мой дом. Всё, Теклошка, нет его, нет, дома-то. Я, когда вода на деревню пошла да затопила её, долго в доме сидел. Много передумал. И о себе, и о тебе, и о Марии, и о сыне. И о людях — тоже. Сердце кровью обливалось: я в тепле, а люди, да ещё с детишками, в холоде и голоде. На пригорке за деревней они себе спасения нашли. Мужчины ещё раньше там сарай собрали. Вода и в мой дом пришла. Я посидел, посидел в нём да к ним. Кричу: "Дом у меня тёплый!.." А они — вон!.. Вон так вон, ушёл я. А потом в ту ночь дом и занялся. Сгорел. И знаешь, сгорел, и у меня на душе легче стало: опостытело мне в нём... Чужой.

Своей, а чужой. Как вспомню — просыпаюсь, будто и тепло в нём, а холод душу пронзает. Хожу по половицам, будто по толчёному стеклу, места себе не нахожу. Спать ложусь — чужое. Глаза сомкну, тебя вижу. Кажется, руку протяну, дотронусь. Протягиваю — нет тебя... На Марию натыкаюсь, хотя её давно уже нет. Вот как было, Теклюшка.

— Знаю такое, Осипка, знаю. Но на Марию не злись. Она же насильно тебя к себе не тянула. Слыхала я, парень у неё до тебя был. Говорили, любились. Сами расстались, или кто их разлучил, не знаю. Может быть, если бы она с тем парнем жила, так и горя не знала бы. А так — ты с ней, она с тобой — чужие. Не каждый такое выдержит. Может быть, и ей так же было больно, как и тебе, и мне. Поэтому и ладу между вами не было. Если мужчине своя женщина нужна, так и женщине нужен свой мужчина. Так что не злись на неё, не бери грех на душу. Тем более, там она... — Текля еле заметно подняла голову вверх. — Чужая она тебе была, потому и был ты чужой в своём доме. Только ты же мужчина, мог, если Мария не любя была, один спать ложиться. А я же — баба, жена. Венчана с Авдеем. Кровать у нас с ним всегда одна была. Нечего сказать — насиле каждый раз... А я всё тебя помнила. Ты всегда рядом со мной был. Хотя вот как у нас с тобой вышло — телом я никогда твоей не была, и ты телом не был моим, но всегда моя душа чувствовала возле себя твою душу. По дому хожу — рядом ты. К кровати иду — тоже рядом.

Авдей, когда молодая была, сгребёт меня в охапку, на кровать бросит, своего добивается, а я давлось слезами — всхлипнуть не даст: “Что, о нём думаешь?” А что я ему скажу?.. Молчу. Бывало, и руку на лицо опустит. А она у него тяжёлая.

— Не надо, не надо, родная.

— Не буду. Но ведь говорю тебе, и мне легче. Я вот что думаю: не надо было тебе из своей деревни уходить. Поссорился с односельчанами, а после помирились бы. Стучается. Никто тебя из своего дома не гнал... Чужой, говоришь. Ну, чужой дом был, когда там Мария хозяйничала. А после что? Прости меня, Господи, Мария же умерла, тебе больше глаза не мозолила. И его... сына, говоришь, уже не было. А сгорел дом почему? Поджог? Подожгли?

— Нет. Пожалуй, загорелся от свечи. Уходил, зажжённую на столе оставил. Крепко трещала она. Помнил, сказывали люди, коль свеча трещит — не чисто в доме. Думал, хоть эта, последняя свеча наконец-то очистит его, уж сколько сгорело их, пока в доме маялся! Думал, приплывут ко мне люди, а в доме чисто. Сейчас знаю, тогда я словно в бреду был. Метался, не зная, как быть. Может, что и не доглядел. Может, вода стол подняла, опрокинулась свеча, загорелась скатерть, огонь перебросился на занавеску, на мох между бревнами — стол у стены стоял. А может, когда я ушёл, поджёг кто: меня все в округе сторонились.

Что тебе ещё о моём доме сказать... Да, давно уже не было в нём Марии. И Стаса давно не было, а мне всё казалось, что они в нём, рядом со мной. Чувствовал я их, нехорошо чувствовал. Мешали они мне или я им, не знаю. Но состояние было такое — хоть живой в гроб ложись, а всё равно от них не спрячаться.

Говорил уже тебе, Теклюшка, и о Марии, и о Стасе. Говорил, но не жаловался, ибо сам во всём виноват. И ещё больше скажу: что-то неподвластное мне гнало меня тогда из дома. К односельчанам толкало. Толкало, плыл к ним и понимал, что назад не вернусь. Я даже мешок ржи и всю еду, которая у меня была, в лодку взял. Тяжело было плыть, а плыл. Печи сгоревших хат при лунном свете видел. Жутко было. Ещё недавно здесь люди жили, мои односельчане, каждого знал, и меня они знали... Голоса слышал, лица видел...

К пригорку приставать тяжело было, а пристал. Людей звал, Ефима, Николая и Михея, Катю и Надю, ответа не было. В сарае на пригорке они от воды прятались, может, не слышали. Хотя Ефим-то услышал, прогнал меня. Тогда я лодку им оставил, а сам в воду вошёл, поплыл прочь, и мне легко стало. Вот как, Теклюшка. Поплыл, и будто валун с плеч столкнул: вода

холодом обжигает, а мне хоть бы что. К бору доплыл. Переночевал, обсушился, а потом уже сюда, на хутор. Тоже словно кто вёл меня сюда, хотя знал о нём от Ефима. Сейчас думаю, если бы всего этого не случилось, вряд ли мы с тобой встретились бы.

Говорил Иосиф глухо, не спеша. Каждое слово будто отчеканивалось. Текля молча слушала, а когда он высказался, сказала:

— Тогда я сама тебя нашла бы, конечно, если бы смогла убежать от тех, кто держал меня в городе. Ведь я, когда шла из ссылки, всё думала: вот увижу тебя, семейного или одинокого, если признаешь меня, расскажу, что со мной Авдей сделал, прежде чем в снопы затащить, а потом и умереть с лёгким сердцем не страшно. Уж больно обидно мне было, что правду ты не хотел знать. У нас с тобой всё так складывалось, что рано или поздно мы должны были сойтись. И вот сошлись. Наверное, так нам с тобой на роду написано.

— Может быть, и написано. Только за что нам такие горестные судьбы дадены? С какого времени? С младенчества? С детства или с молодости?.. Да ещё на всю жизнь. И ты не больно нажилась за бедными родителями, и я сиротой настрадался. Пока отец не привёз мачеху, в слезах утопал. Святая была женщина, высушила мои детские слёзы. Но всё-таки за что страдания?

— Не надо, не вспоминай. Никто не ответит, за что. Я же вижу, как тебе тяжело. И мне тяжело. Не надо шевелить угли, пусть угасают. Сейчас нам с тобой хоть немного спокойно пожить бы.

Сказав это, Теклюшка умолкла. Иосиф, по-прежнему держа её под руку, шёл осторожно. Не потому, что боялся поранить свои босые ноги, — за Теклюшку опасался. Ещё бы: её ноги в язвах, больно ей и в сапогах ступать по земле. Он, была бы у него сила, понёс бы её на руках, но ощущал, что и шага с ней не сможет ступить.

Начинало смеркаться. Влажная серость опускалась на деревья, на землю, хотя местами на редколесье было ещё достаточно светло, стволы сосен отсвечивали желтизной.

— Путь у меня здесь тайный, — сказал он, заметив, как она неуверенно ступает по ещё твёрдой земле. — Рядом иди. Я тебя крепко держать буду. Пока стемнеет, дойдём...

Когда преодолели болото, поднялись к гряде, за которой начинался хутор, и перешли её, было ещё светло. Лес, опоясывающий усадьбу, напоминал неровную высокую тёмно-серую полосу, по которой сверху спускались жёлто-розоватые разводы. Также сверху по всей темной полосе, по ее кривизне еле заметно трепетала желтовато-багровая лента. Трава под ногами была тёмная, местами на ней блестела тяжёлая крупная роса, от неё тянуло холодом.

Они стояли на меже между хутором и грядой леса, откуда, пока ещё не совсем смеркло, довольно чётко были видны очертания дома и хозяйственных строений. Как только вышли из леса, Текле сразу бросились в глаза два чёрных креста на двух окнах, зловеще блестящих в лунном свете. От неожиданности она, споткнувшись, отпрянула назад, непроизвольно ойкнула. Иосиф вздрогнул, крепко обхватил её за плечи, хотел спросить, что случилось, но не успел, она, опередив его, произнесла дрожащим голосом:

— Кресты... Два. Нехорошо это.

— Перекрестись, Теклюшка! — словно спохватился он. — Какие кресты? Это же доски, окна заколочены. Не знаешь, что ли, так люди всегда делают, когда вынуждены оставить дом.

— Нет... Когда нас с Авдеем ссылали, так даже окна заколотить не дали. А это — как какой знак.

— Чудится тебе, знак. Не сорвал, не я заколачивал, хозяин. Он и должен сорвать. Но если уж так вышло, сниму.

— Сними. Возвратится, ругаться не будет: живой дом. Хотя, если хозяин где-то там, где я была, то вряд ли вернётся. Один, может быть, и смог бы убежать. А с семьёй не убежишь. Да и зачем искать новых бед? Семейные и там обживаются, если в семье лад.

— Хорошо, хорошо, пойдём, — сказал тогда Иосиф, понимая, что Текля вновь тревожно и боязно, несмотря на то, что он рядом и ведёт её туда, где столько лет живёт.

Текля с трудном оторвалась от Иосифа, и они по траве, усыпанной холодной колючей росой, направились к дому.

Иосиф понимал, что Теклюшка не просто будет жить в чужом доме: женщине, как птице, своё гнездо надо иметь. Понимал и надеялся, что через какое-то время они где-нибудь попробуют приобрести своё жильё. А пока надо ей привыкать к тому, что сейчас будет у них. Сам он к чужому жилью привыкал долго, чувствуя себя не то, что непрошеным гостем, а вором. Долго подавлял в себе это угнетающее чувство, долго сам себя стыдился, кажется, и сегодня полностью не утратил его, но ничего не поделаешь — пока нет у них иного выхода, как жить здесь. А жить здесь — постоянная неизвестность: что будет дальше? Хотя есть утешение: сейчас они вместе. А вместе, если что, так хоть в странники. Но это — если вдруг вернётся хозяин и придётся оставить его жильё. Конечно, летом можно и идти, просить подаяние, а каково в холода, зимой?

Думая об этом, он, казалось, не замечал сгущающихся сумерек. Он шёл к дому, держал Теклю за руку и не ощущал босыми ногами холода. Он видел только её. Он чувствовал, как она вся дрожит, как горит её рука в его руке, и вдруг ему стало жутко — дикая, будто ниоткуда взявшаяся мысль пронзила его: а если я первым умру...

Вздрыгнул от этой мысли, остановился, опешил... Взор наткнулся на два уже еле заметных креста на тёмных окнах. Были они совсем близко, и от этого на душе стало ещё более жутко.

— Ты что? — испуганно спросила она.

— Ничего, — еле сдерживая дыхание, проговорил он слипающимися губами. — Во рту пересохло. Да и холодом пахнуло, сыростью тянет.

Кресты уже совсем близко видела и она. Вон они, прямо перед глазами. А может быть, сколько шла от межи к дому, столько и не спускала с них глаз. Иначе почему спросила:

— Та что же это будет, Осип?

Спросила растерянно, глухо, словно обречённая на что-то неисправимоплохое.

— Всё будет хорошо, — успокоил он её тогда, двинулся с места, подвёл к крыльцу — окна с крестами исчезли слева, — первым ступил на доски, просевшие под его ногами, а потом и под Теклей.

Второй раз на чужой усадьбе ойкнула она, взойдя на крыльцо вслед за ним, и едва не упала, но Иосиф поддержал её, сказал:

— Новое крыльцо слажу. Доски есть.

— Сладь.

Он, поддерживая одной рукой её под руку, другой решительно толкнул дверь в сени. Дверь тихо и широко открылись. И сразу же в сени, выдавливая тьму, влился блеклый лунный свет, на пол упали их две вытянутые тени.

— Домом пахнет, — сказала она, переступив порог. — Помню этот запах. У нас дома, когда с родителями жила, тоже так пахло. Грибами, ягодами, хлебом. Домашним теплом веет.

Не ответил Иосиф. Хлебом у него давно не пахло, не привозил, разве что ржаные сухари были в полотняном мешочке, висевшем на гвозде в сенях возле его лежака у стены. А вот грибы, ягоды были — сушёные в связках, тоже на стене на гвоздях, да в кадучках, здесь же, в сенях. А тепло — протапливал печь, а иначе дом омертвеет.

— Полати у тебя тут, — сказала она, глядя на лежак.

— А как же, смастерил. И тебе смастерю. А пока на моём лежаке будешь спать. А я рядом, на половицы что брошу.

Полубила Теклюшка это место, надёжно спрятанное природой от чужого глаза. А тогда, осмотревшись, сказала: “Чтобы своё, так лучшего и не надо. И дом, и печь, и постройки. И огородик можно посадить. И лес вокруг”.

Говорила это она на следующий день, когда он, как и обещал, сорвал кресты с окон. Доски долго не поддавались, протяжно и отвратительно трещали, он едва не сломал топор, отрывая их, — гвозди длинными были, вьелись в сосновые венцы. А когда сорвал, в дом через тусклые стёкла, покрытые серой пылью, влился мутный свет, упал на почерневший пол, на тёмные стены, на давно не белённую печь у порога.

Текля, когда он срывал доски с окон, молча стояла в сенях у порога, словно боясь войти в дом. Когда же в доме всё осветилось, не воздержалась, сказала сама себе: “Вот и ожил. Теперь в нём и жить можно...”

3

...Два года тому назад, когда Иосиф привёз сюда Теклю, они проговорили всю ночь, сидя в сенях на лежаке. Когда зашли в сени, хотя здесь и был разлит лунный свет, Иосиф зажжёт свечу, поставил её в жестянку из-под консервов на столике возле лежака. Подвёл к нему Теклю, посадил, осторожно стянул сапоги с её ног, развернул портянки. Затем осмотрел раны на её ногах и еле сдержался, чтобы не закричать: как она могла не то, что целый день стоять, но и ходить!..

Не закричал. Сморщился, вздрогнул, боль пронзила всё тело, потом молча достал из-под лежака чистые портянки, подал ей. Теклюшка не взяла их, сказала, что пока не надо, пускай заживут ноги. А до зимы заживут они, подорожник ещё не высох, будет прикладывать его. Была бы здесь трава молодила и сало, сделала бы мазь, и горя с ногами не знала бы.

— Сало есть, а такой травы не знаю, — сказал он.

— Женщина, которая в России подобрала меня обессилевшую, в свой дом привела, согрела, накормила, а проще говоря, спасла, потом в дорогу такой мази дала. В котомке та мазь была, с едой. Начальник, который вёз меня в поезде, забрал котомку.

Текля подвинулась, давая ему место рядом с собой. Иосиф сел, она положила голову ему на плечо. Он обнял её, ладонь обдало теплом, тем, давним, её, Теклюшки, полузабытым им, хмельным — легко закружилась голова. Не сдержался, с благодарностью и нежностью дрожащими губами молча прильнул к её щеке.

— Как хорошо мне с тобой, — тихо сказала тогда она. — Вечно бы так...

Сказала и смолкла, закрыла глаза, он чувствовал это, чувствовал, как горит её щека, как горят его огрубевшие губы, тоже молчал, ни о чём не хотелось думать, кроме одного: они вместе...

Иногда они молчали, иногда тихо говорили...

Тогда у него было такое ощущение нежного родства с Теклюшкой, что, казалось, они от рождения были одним целым. Казалось, что когда-то вот так вместе пришли в этот мир, вместе прожили жизнь, вот только промелькнула она так быстро, что и не заметили в ней своей невыносимо длинной разлуки, всего того горестного, что было у них вместе и порознь...

Язычок пламени свечи горел ярко и еле заметно колебался. Иосифу на мгновение вспомнилась, как трещали свечи в его доме, когда в наводнение зажигал их одну за другой. Трещали, а он не знал, что делать, куда броситься в такую адескую ночь. Тогда ему казалось, что по дому слоняются привидения Марии и Стаса: от людей слышал, свечи трещат, значит, рядом не всё чисто...

Он захотел сказать об этом Теклюшке, но свеча не трещала. Сдержался: зачем, она же сочувствует Марии, у которой, как считает, также не сложилась судьба с ним, Иосифом. Конечно, Теклюшка права: Мария была не его женщиной, а он не её мужчиной, не то что любви, уважения между ними не было. Жила с ним Мария и как будто мстила ему за то, что нелюбим, за того, которого любила. А он тихо терпел всю её ненависть к себе и месть. И как тогда просто и доходчиво объяснила ему Теклюшка всё то, что было между ним и Марией: чужие, он — не её, она — не его... Вот только почему всё должно было быть через зло между ними, не сказала.

Двери в сени не закрывали. Вечер был тёплый. В сени глядела луна. Уже не бледно-жёлтая, как ещё недавно, а ярко-жёлтая, огромная. Она висела над лесом прямо напротив крыльца и лила вокруг жёлто-голубой свет. Он еле заметно покачивался на гриве леса, лёгкими волнами плыл по лужайке, трепетал на крыльце, серебристой тропинкой входил в сени, ковриком застывая возле лежака, на котором они сидели.

Вокруг было таинственно-тихо, всё как будто вымерло. О чём бы они ни начинали говорить, всё сводилась не к горестному, а ко всему тому светлому, что окружало их в молодости...

Но тогда у них были совсем другие, чем сейчас, чувства: у него — к ней, у неё — к нему. И состояние душ было такое, что никакими словами не выразишь, разве только так: нежность... Какая-то неземная, как этот лунный свет, падающий на них. Да, да, нежность, неуловимая, необъяснимая и, как сейчас вспоминалась Иосифу, с печалью...

А в общем, тогда, в молодости, состояние это и у неё, и у него было одинаковым: везде — он, она, где есть наяву, и где нет. Во всём видится он, она. На всё смотришь его глазами, её глазами. А иногда было невыносимо обидно, когда долго не видишь её, его: где же ты, любимая... любимый...

Особенно обидно было тогда, когда кто-то посторонний скажет о ней или о нём недоброе слово. И не хочется верить этому, а всё равно жжёт внутри, бередит душу — терпеть невозможно.

Тогда он, кажется, ни разу даже словом не обмолвился об этом, стеснялся своих чувств, будто они кем-то были строго-настрого запрещены.

И она не говорила ему, что любит. Одно говорила: “Как же я тебя жалею, Осипка”. А он не понимал смысла этого девичьего признания, обижался, не хотел, чтобы она его жалела, это вроде как бы унижало его.

Тогда же он вдруг тихо сказал:

— Любил я тебя, Теклюшка, и теперь люблю. Ничего, поживём ещё.

— Поживём, Осипка. Поживём и, даст Бог, ещё наживёмся.

Вспоминали родное, дом, свои деревни. Что касается Теклиного отчего дома, так он перестал быть для неё родным с первого дня, как только слухи о её бесстыдстве с Авдеем в снопах пронеслись по деревне из конца в конец. Отец кричал: “Или в омут, или выходи за него, если ещё возьмёт!..” “Иди к нему, просись, девка! — толкала её мать в плечи. — Возьмёт, так и стыд смоем. А нам с отцом какой-никакой клочок земли перепадёт. Беги, падай на колени!”

Что ни слово — кипиток в лицо. Стыд руками не закроешь. И ей тогда действительно было хоть в омут, хоть в огонь. Выхода никакого. На улицу выбежала, как была, растрёпанная, а старые женщины пальцами тыкали: “Бесстыдница, блудница!” Те, что помоложе, и совсем молодые отворачивались, ехидно посмеиваясь. Ещё бы: не было в деревне, чтобы девушка вот так, как она, при всех в снопах голая с парнем забавлялась. Было, таскала Авдей девок по углам, так таясь. Было, гуляли вдовы с мужиками, с женатыми и бобылями. Тоже скрытно. Было, даже детишек “находили”, безотцовщину. Не любили тех детей в деревнях, нагулянными называли. Но ведь никто вот так-то, как она, открыто блуду не предавался. А здесь — как вызов тем женщинам, которые жили с нелюбыми и украдкой гуляли с каким-нибудь мужиком, и тем, которые хотели гулять, да боялись: а я вот какая чистая!.. А ты...

Да никакая!.. Обманул её Авдей! Подмял под себя, будто придорожный цветок в грязь перед всем миром втоптал. А потом смотрел да потешался, как она в той грязи катается, плачет, стонет, пытается подняться и не может, да ждёт, подаст ли ей руку Иосиф, эта голь, которую Текля вместо него, Авдея, выбрала. И дождался Авдей своего: не подошёл к ней Иосиф, руки не подал, из грязи не поднял. Тогда Авдей, утолив самолюбие её горем, поднял — спаситель. А как не поднять? Сам же втоптал, сам же первый ею натешился, давно к ней приглядываясь: и работница, и с лица ничего, и фигура словно точёная; с такою женщиной не грех и на люди показаться, многие мужчины на неё глядят так, что, кажется, съели бы...

Не прибежала к нему — пришла. По деревне брела сама не своя. Слезы глаза закрывали, земли под собой не видела. Взоры баб спину насквозь

прожигали, слова вслед, словно камни, летели: “Идёт к нему, блудница. Неужто возьмёт Авдей её? Да-а, везёт некоторым...”

Пришла... У калитки стоял, бросил сквозь зубы: “Умойся! Да в дом!.. А на них плюнь!” — махнул на баб, посматривающих из-за своих плетней: “Кыш!”.

Может, любил её Авдей? Как сказать... Хотя... какая любовь, если так? Сколько жили, столько и бил её, Иосифом глаза колот. Так что же это за любовь такая?.. У Текли, да и у Иосифа ответа на это не было. И у Авдея — тоже. Не раз спрашивала у него: “За что? Я девкой была”. Отвечал: “Было бы за что — убил бы!” Наверное, порода их, Юхновцов, такая: с женщиной жить да над женщиной той издеваться. Настродалась за Авдеем Теклюшка. Знала: её свекор, старый Юхновец, жену свою всю жизнь, как в узде, держал. В синяках ходила, никто не видел её обнажённых рук, ног до колен — одежда закрывала. А за что издевался, пожалуй, и сам не знал. Понимала, что и ей такого не избежать. Но всё же лучше с ним, зверем, жить, если берёт, чем в омут. С ним хоть надежда есть: когда-то откроется правда и ему, Иосифу, и родителям, и людям, смоеся позор с души. С позором жить тяжело, ух, как угнетает! Хотя, если кто-то не захочет поверить, так не заставишь. Да и зачем? Вот и получилось, что, сколько Теклюшка с Авдеем жила здесь, пока не раскулачили, и там, куда сослали, она одна была. Разница только в том, что одной среди своих быть невыносимо, а среди чужих — так как само собой понятное: кто она им, чужим людям?.. Это с родителями связь кровная, и когда рвётся, кажется, не пережить такое... А с соседями, односельчанами связь жизненно будто необходимая, но без неё легче обойтись... И когда она рвётся, так боли особой нет, обида есть: как же так, столько лет жили рядом, и вдруг... А с чужими и не надо искать никакой связи: у них — своё, у тебя — своё...

Время всё ставит на свои места. Обида на родителей забывается, начинаешь жалеть их: горемычные, не могли понять, что тогда было у неё на душе... Сплетниц слушали. Простила их Теклюшка, давно простила, ещё когда живы были, часто домой приходила... И баб-сплетниц простила, думая, не дай Бог никому из вас моей судьбы, не вникая, какая судьба у каждой из них. Одно зная, что своя судьба и у неё, и у Иосифа...

И об этом говорили они тогда, в ту их первую ночь на хуторе, в чужом доме. Говорили без обид, не упрекая друг друга в том, что с ними случилось. Пожалуй, и он, и она подсознательно одной фразой находили оправдание всему тому, что у них случилось не так, как надо: “Молодые были, в головах — ветер...” И этим якобы всё было сказано. Здесь твоё будто и не твоё: фраза-то укоренилась в жизни людей неизвестно с каких времён, бытует, надо — бери, ни у кого не спрашивая... А если твоё, так это то, что с тобой было до того, как за эту спасительную фразу ухватишься... Только не очень-то она спасает. Ведь то, что когда-то очень больно скользнуло по душе, будто выжгло всё там, оставив на многие годы пустоту, со временем всё равно напомнит о себе. И тогда вновь всколыхнется душа, пусть слабо, еле заметно, или, точнее сказать, когда почувствуешь внутри себя боль, пусть не такую жгучую, как в молодые годы; тогда казалось, мир рушился, значит, жива она, душа твоя... Тогда и жалость появляется, к себе и другим...

— Как же я жалела и жалею тебя, Осипка, чтобы ты только знал, — который раз говорила она. — Когда ты, как Авдей вёз меня венчаться, упал под копыта лошадям, я так за тебя испугалась, что думала, умру на месте. Хотела так закричать, чтобы всё на земле перед тобой разверзлось, а не могу звука исторгнуть... А когда увидела, что лошади взвились над тобой и останулись — отнула: живой мой Осипка, живой...

Хотя и до этого без тебя была если не мёртвая, так сама не своя. Как заговорённая, словно очумелая была. Когда родители от меня отвернулись, сама к нему пришла. Не помню, говорила ли что ему. Одно помню, усмехнулся он очень нехорошо, смял меня, на кровать бросил, кофту на грудях разорвал... Я слезами давилась, глаза лоскутьями кофты закрывала... А потом делала всё, что он велел: куда идти, ехать, что говорить...

После поняла, что покорила ему во всём, — одна я на всём белом свете, отвернулся ты меня. А тогда, когда увидела, что ты живой, — всё во мне вспыхнуло, оживило окаменевшую душу... Помнишь, как к тебе бросилась?

— А как же, помню.

— Бросилась я тогда к тебе — вот моё спасение!.. А ты из-под лба глазами презрительно глянул, будто пламя меня окатило, — никогда я тебя такого не видела, — и отвернулася. Я прошу, только позови, с тобой останусь. А ты не позвал. Авдей всё видел, злорадствовал: “Ты ещё ноги мне целовать будешь, что подобрал. Зачем ты ему такая?..” Угасла я вся, подумала, зачем же тогда прибежал, если так? Нехорошо подумала: чтобы напоследок поиздеваться.

— Нет. Хотел последний раз тебя увидеть. Хотя и вырвал Авдей тебя из моего сердца, но не с корнем. Долго рана там кровоточила, она и сейчас не затянулась как следует, жжёт... Думал тогда, тебя увижу — легче будет. Выходит, не о тебе думал — о себе. А если так, то был зол на тебя, в который раз говорю, прости.

— Не надо, тоже какой раз говорю тебе. Я на тебя никогда зла не держала. А вот обижалась долго: почему не поговорил с мной, когда всё случилось? Почему отвернулся? А когда ты отвернулся от меня, во мне уже и угасать было нечему: что будет, то пусть и будет. Думала, может быть, так будет лучше и тебе, и мне. Помнила, как женщины говорили, когда какая-нибудь девушка за нелюбимого шла: “Баба всё стерпит, со всем сживётся, а мужчина — нет. Мужчина от нелюбимой через любые сети пробьётся, а к той, которая любя, придёт”.

— Получилось так, что я не пробился, — тяжело сказал он. — Думал, что я тебе никто. Обида меня захлестнула.

— А я поняла твою обиду. Правда, как забеременела. Поняла, как тебе тяжело было представить рядом со мной Авдея. Ты же, как мы с тобой ходили, только дотронешься до моей руки и едва не млеешь. А тут — он. Между вами никогда согласия не было, хотя вместе на вечерки ходили. Он богатый, а ты нет. А вообще-то он на всех парней свысока смотрел. Он такой был, когда удумает у кого девку свести — сведёт. Липли к нему девки, было. Но не все поддавались ему, я — тоже. Я тебе не говорила тогда, что он и ко мне подбирался, только я ему: “Пошёл прочь!..” А это ещё больше мужика бесит. Ну, и опол, память отшибло. А ты, когда всё случилось, решил, что я сама к нему пришла.

— Да... Вот и ключ ко всему нашему...

— Всё, что было с нами, Осипка, когда расстались — миновало. А теперь настало наше с тобой время. Только надолго ли? — вдруг вздохнула она. — Когда-то кто-то один останется... Что тогда?.. Надо, чтобы я раньше...

— Не думай об этом, — глухо, будто издали, сказал он. — Нам ещё жить да жить.

— Если бы так...

Текля на какое-то время умолкла. Молчал и Иосиф. Её голова по-прежнему лежала на его плече. Он боялся пошевелиться, ощущая, как тихо и спокойно пульсирует жилка на её виске.

Текля была внешне спокойна, но он чувствовал, что на душе у неё тревожно. Понимал, Теклюшка не может избавиться от мысли, что когда-то кто-то из них останется один, боится, вдруг — она. Понимал, что сейчас не надо её утешать, только разбередишь душу и ей, и себе. А так посидят молча — развеется та тревожная мысль, исчезнет. Вот только надолго ли?

— Месяц скатился, — неожиданно сказала она. — Угасает. Пожалуй, скоро начнёт светать. Как же давно я не видела наших рассветов! Помню, такою порой они чистые, будто росой умытые. Свежо у нас. Легко... А там, где я была, рассветы какие-то тяжёлые, сырые. Там — лес и лес. И небо там какое-то иное, низкое, к земле давит. И месяц не такой: у нас — жёлтый, а там какой-то бледный, как выжатый. Хотя, может, так только кажется — всё там чужое.

— Скатился, — будто подтвердил он.

В открытую дверь по-прежнему лился лунный свет, но уже слабый, и со стороны, сбоку — луна склонилась к гряде леса, к реке, отсюда, из сеней она всё ещё была видна, поблёкшая. Звёзды на небе таяли, было оно уже не тёмное, а синее. Если перевести взгляд вниз, к земле, то можно было увидеть, что поблекла лунная тропа к крыльцу. А ещё, что она отодвинулась вправо от двух берёз напротив него, туда, где над тёмной грядой леса, на меже между болотом и хутором, висела печальная луна.

Иосиф видел, что кроны этих двух берёз заметно посветлели, хотя всё ещё были невыразительными на фоне тёмно-синего леса напротив, что на его гребне по-прежнему, как и ночью, еле заметно трепетала жёлтая лента, но уже подёрнутая лёгким красным цветом.

Присмотрелся — лента уже не та, не вечерняя, а утренняя — от солнца, которого ещё не было видно, но которое уже ощущалось. Приближался тот момент в жизни природы, когда оно скрыто ещё где-то далеко-далеко, но вот-вот должно вспыхнуть, зажечь гребень леса. И вскоре зажгло, высветился первый луч, заиграл на нём, словно сполох далёкого огня...

Иосиф вздрогнул, будто пахнуло жаром.

— Что с тобой? — испуганно спросила она и сняла голову с его плеча. — Вспомнилось, как уходил из деревни. Не по себе стало.

— Не вспоминай. Уже ничего не изменишь.

— А я и не хочу ничего менять. Зачем? — Текля вновь склонила голову ему на плечо, и он вновь ощутил, как пульсирует жилка на её виске. Но уже не так спокойно, как раньше, а быстрее, сильнее. — Только вспоминается. Знаешь, — продолжал он, — я тогда не от людей уходил, а от себя самого, от того, каким был в то время. Долго не понимал этого. А когда здесь очутился, много о себе и о них думал. Времени хватало. Ночи в одиночестве длинные. Особенно зимой. Думал и понял, что уходил я и от вины перед ними. Большая вина перед односельчанами на мне лежит. И не только за Стаса. Иной раз думаю, как только земля меня держит.

Давно и не раз порывался к властям прийти. Мол, такой-то и такой-то объявился. Может, ищите? А когда и не ищите, всё равно судите меня: отец преступника, да ещё какого — людей с немцами жёг... И ещё: у нас дамба после войны взорвалась, заминирована была. Так я видел, как немцы, когда отступали, по ней ходили, что-то рыли там. Знать, минировали, а я никому не сказал. И разве оправдание мне, что не знал об этом? Позже, как взорвалась, догадался... Хотя, кажется, как наши пришли, дамбу проверяли.

А потом думаю: а что власти? Перед ними вина одна: осудят, и всё здесь. Отбыл срок, вернулся домой, если там не сгинешь, — нет вины, искупил. А перед людьми вина вечная. Умрёшь, а всё равно не простят. Она как вопьётся в людскую память, так ничем, никакой тюрьмой её не вытравишь. Люди и должны меня судить своим судом. За то, что Стаса таким вырастил. Видел же, каким растёт, но ничего не сделал, чтобы уберечь парня: дед, баба, Мария не давали. Им подчинялся, мужчина, называется. За то, что...

— Не надо, Осип! — сказала Текля. — Как хорошо было, а ты вновь — вина!

— Может быть, и не надо, но всё же доскажу. Перед людьми виноват, они и осудили меня. Только как?.. Тем, что не приняли к себе? Больше они никак меня не затронули. Ну, крикнул Михай Ефиму, чтобы тот закрыл передо мной двери в сарай, когда я к пригорку приплыл, где они спасались. Конечно, слышал Михай, как Ефим упрекал меня, дескать, приплыл, ибо страшно одному в наводнение, и всё... И весь суд? А мне надобно знать, что я, если по совести, заслужил, какое мне должно быть наказание. А то: прочь...

— Пожалуй, и этого тебе хватило, — сказала Текля. — В ледяную воду тогда бросился, сгинуть мог...

— Но ведь не сгинул.

— Значит, вину свою преувеличиваешь. Если в чём и виноват, то есть же иной суд. Он один справедливый. От него не откупишься, его ничем не проведёшь. Его никому не миновать. Ни богатым, ни бедным. Ни властелинам, ни нам с тобой. Есть же суд тот, Осипка?

— Чего не знаю, того не знаю. Может, и есть, — ответил он. — Но всё-таки, может быть, тот, кто в том суде за мной наблюдает, нечто моё уж очень ужасное просмотрел. А может, и пожалел меня, дал шанс подумать и самому себя осудить, вот и выплыл.

— Слушаю я тебя и вижу, что ты сам себя и судишь, — сказала она. — Даже теперь. Мы только встретились, ещё не наговорились, а ты уже... Не убивайся, Осипка. Зря всё это. И себя не суди, и людей. А если, как ты говоришь, они тебя не судят, так не за что. И если даже и было бы за что, так прощали тебе. Значит, понимали всё, что с тобой приключилось, люди просто так ничего никому не прощают. Говорю, поняли, что нет твоей вины перед ними. Страдалец ты. И они страдалцы.

— А ты?

— Была страдальцей, теперь нет. Я же с тобой. Нам теперь надо жить, а не страдать. И не надо ни на кого обижаться. И никакие суды тебе не нужны: ни от власти, ни от людей. Если бы ты кого уж очень интересовал, давно нашли бы — и власть, и люди. Не здесь, так в городе. Ты же раньше часто туда плавал. А так живи, зачем, чтобы душа страдала? Она же не каменная, может и не вынести.

Иосиф слушал её тогда и не понимал, почему он вдруг начал такой разговор. Не ко времени он. А вот что-то качнулось в душе, вывернулось, и её прорвало, как ту дамбу... Вновь замолчал, теперь уже надолго. И Теклюшка молчала, пожалуй, что-то своё вспоминала, о чём-то своём думала. Затем, словно очнувшись, приподняла голову, пристально посмотрела на него и начала осторожно проводить рукой по давно не бритой щеке. Гладила молча, нежно, рука её дрожала, он ощущал, как всё тело наливается теплом, ему, кажется, как никогда за многие годы, было хорошо и спокойно, глаза сами закрылись...

Вдруг она вздохнула, обняла его, прильнув щекой к его щеке, и тихо сказала:

— Выговориться тебе хотелось. Но не было перед кем. Взволновался.

— Откуда знаешь?

— Да по себе знаю. Поговорили, и будто гора с плеч. И у тебя, и у меня.

— Оно так, Теклюшка. Как захотелось жить! А то душа усыхала. Исстрадался. А ты меня оживила. Теперь, Теклюшка, мы, как ты сказала, должны жить, а не страдать.

— Говоришь, оживила я тебя. Если бы ты знал, как ты меня оживил!.. Как тебе сказать... Видел, как в зной при дороге какой-нибудь корешок усыхает? Пылью его занесёт, люди стопчут-перетопчут, кажется, в нём уже нет ничего живого, и вдруг пройдёт дождь, и — ожил он, ожил. Так и я, как только тебя увидела, сразу и ожила: мой Осипка, мой! За мной пришёл, чтобы спасти.

— Удивительно, что узнала. Состарился. Лица нет, щетина на нём. К земле гнусь.

— Как узнала... Появился — почувствовала: ты!.. А меня как ты узнал? Я же уже так состарилась, что...

— Брось! Какая была, такая и есть. Глаза твои. Тепло твоё. Вся такая, как была. Тоже тебя почувствовал. Да я тебя с завязанными глазами узнал бы: моя Теклюшка.

Сказал и вновь подумал о том, что с ней будет, когда останется одна? Когда-то же это случится. Он стар, слаб. А женщин страдания делает сильней, выносливей. Страдальцы дольше живут. Вон сколько было примеров в Гуде, да и в Забродье, когда страдальцы-женщины жили долго-долго. Только зачем так, через страдания?.. Женщины без страданий жить долго должны. И Теклюшка должна жить долго-долго. Но не здесь в одиночестве, а среди людей, с людьми, хоть и он, и она их боятся. Особенно она: в ссылке могут вернуть...

Ему захотелось сказать Теклюшке о том, что если вдруг он умрёт, то ей непременно надо идти в Гуду и обязательно найти там Ефима. А если того уже нет (всякое может случиться, тоже, как и он, Иосиф, в годах), — Николая или Михея, да сказать им: “Я жена Иосифа Кучинского. Он умер.

Осталась одна. Помогите”. Пусть расскажет им всё о себе и о побеге из Сибири. Они поймут её, не выдадут, не оставят в беде, если надо будет, спрячут. Как бы плохо ни относился Ефим к Иосифу, всё равно невинную Теклюшку в обиду не даст, конечно, если живой.

Не сказал, будет ещё время. И это её, дескать, нам теперь надо жить, а не страдать, будто вдохнуло в него надежду на добро.

4

Вместе они были почти два года. И радостные, и тревожные для них. Непросто двум столь пожилым людям жить отдельно от всего мира. Непросто не только потому, что уже нет здоровья, что надо как-то добывать еду, а ещё потому, что каждый день боишься: вдруг сюда кто зайвится... Нет, нет, не хозяин, с ним они сладят, тот сам ни за что пострадал. Лесники могут прийти, милиционер или ещё кто из власти.

Казалось бы, власть — это тоже люди. Только почему-то, сколько Теклюшка ни сталкивалась с теми людьми, не видела от них ничего хорошего для себя. Раскулачили, со своей земли изгнали, когда не хотела идти, в спину толкали, матерились, оскорбляли, и сколько ни плакала — никакого сострадания.

Казалось, что те люди не имели сердца. Казалось, их родили не матери, а звери. Казалось, они никогда не были детьми. И ещё: они никогда никого не любили. Казалось, они ненавидели весь мир, в каждом человеке видели врага.

Она рассказывала Иосифу, как в районе на площади перед каким-то строением, где и была власть, собралось немало таких же раскулаченных, как они с Авдеем. Были семьи с детьми. Дети плакали, но и на них, как и на взрослых, стариков и старух, те, кто тогда был властью, смотрели, как на своих заклятых врагов.

И поняла тогда Теклюшка, что ты в этом мире ничто перед такими людьми. И также понимала, если бы тебя не было, то они были бы никем, потому что им надо, чтобы были бесправные и обездоленные.

Бесправной и обездоленной была она и в ссылке, куда их везли долго-долго. Везли, как животных, в каких-то зарешёченных вагонах, где ни сесть, ни прилечь — столько людей. И относились к ним, как к животным, — об этом тяжело было вспоминать, но она не могла забыть весь ужас пережитого. Говорила, что видела и по дороге, и в ссылке много человеческого горя и страданий. И видела, как в этом горе люди помогали друг другу: делились последней краюхой хлеба, глотком воды. Также видела и тех, кто был готов отобрать у голодного последнее. И отбирали.

Такие без очереди, распахивая слабых, лезли с миской к котлу, когда на какой-нибудь остановке приносили похлёбку. И ели такие не по-человечески — по-волчьи, глотая еду, а потом вылизывали миски. Такие крутились возле сопровождающих, по-собачьи заглядывали им в глаза...

Таких не любили, но и не трогали: себе хуже...

О владельце хутора, не известном им Антоне, именем которого называл себя Иосиф, когда плавал в город к своему товарищу Архипу, она думала, как о хорошем человеке. Хозяин. Смог же в глуши среди болот расчислить площадь, возвести дом, поставить кошару, сарай, другие строения.

Говорила об этом Иосифу, и он соглашался: “Известно, лентяй такое хозяйство не содержал бы. И Ефим сказывал, что Антон был хозяином настоящим и хорошим человеком. Ефим, когда был молодой и бродил по земле, на какое-то время к нему пристал, у него работал, а Боровец брехать не будет”.

Если такой человек и вернётся, то разве не посочувствует им?..

Вера в доброту хозяина хутора обнадёживала: как-нибудь и при нём доживут они тут свою старость. Вот только бы умереть вместе, такое с мужем и женой случается. Но это от них не зависит...

И понимал Иосиф, что Теклюшка здесь одна без него не выживет. Понимал, что никуда она отсюда не пойдёт, ни в город, где настрадалась,

ни в свою деревню, где у неё уже давно никого нет. И в Гуду к чужим людям не пойдёт.

— Как Бог даст, так и будет, — говорила она, когда рассуждали об этом. — Живём и живём. И нечего Бога гневить: мы же вместе. Ты хоть сейчас, да мой хозяин. Как же я этого хотела!

Со временем постепенно, привыкнув к хутору, к чужому дому, Текля стала ощущать себя здесь хозяйкой. Не спеша, словно боясь нанести урон чужому жилью, вымыла с песком местами потемневший от времени пол. Ужасалась: откуда столько песка? Иосиф пояснил ей, что это высохший болотный ил, принесённый когда-то ворвавшимися сюда людьми. Они-то и истоптали пол грязными сапогами, прежде чем изгнать отсюда Антона и его семью, а кто ещё? Семья в лаптях ходила, вон они, до сих пор в кладовой, старые и новые, целая гора, большие и маленькие.

Затем Теклюшка вымыла окна, с углов, из-под печи смела паутину, тщательно провела метлой по серому потолку, словом, привела дом в порядок. Иосиф помогал ей, носил из родничка воду, передвигал стол и лавки. Глядя, как она управляется, представлял, что они в своём доме. Представлял, прекрасно понимая, что в чужом они, что своего угла им уже никогда не иметь, и холодное щемящее чувство обиды охватывало его. Стараясь не показывать этого, как мог, молча улыбался: пусть она хоть на миг почувствует себя хозяйкой.

А она, если и чувствовала себя такой, то только тогда, когда руки были чем-то заняты да когда он был рядом. Убирая в доме, Теклюшка сетовала, что в нём нет иконы: в левом углу, на полке, где обычно их ставили в её деревне, лежало смятое потемневшее, чуть ли не истлевшее полотенце. Хозяин ли забрал иконы или пришлые люди — как знать.

В доме убирала, но по-прежнему они жили в сених — пусть ждёт хозяйна, семью. А вот печь Теклюшка протапливала, как и раньше протапливал Иосиф, — без теплой печи жильё умирает. И в печи варила еду. Было из чего, Иосиф по-прежнему время от времени выбирался в город, покупал только самое необходимое: крупа, соль, хлеб. А мясо и рыбу, как и прежде, добывал сам: устанавливал в лесу петли на зайцев, тетеревов, рябчиков. А на реке в заводах всегда стояли верши.

Когда приплывал в город, чёлн, как и раньше, привязывал к ольхе недалеко от Архиповой бани. Случалась, на берегу встречал кого-нибудь из местных рыболовов, пожилых мужиков, но были и парни. Их лодки покачивались на воде недалеко от его челна. Здесь, как и при Архипе, мужчины, жившие у реки, держали свои судёнышки. Иосифа они знали в лицо, не раз видели его вместе с Архипом.

Иосиф ещё с лодки, здороваясь с ними, молча кивал головой. Затем не спеша подымал ореховые удочки, перекладывал (нарочно сделал их и брал в чёлн). Котомки с рыбой или ещё с чем не доставал, ждал, пока останется один, чтобы взять их и двинуться к базару, где у него ещё у ворот перекупщики за бесценнок забирали, как говорили, “товарец”. Заберут, дадут деньги, а он — назад, к реке, к магазинчику, стоящему почти напротив Архипового дома, где и покупал, что было надо.

Случалась, мужики и парни подходили к нему, спрашивали, клюёт ли рыба и где, если не секрет. Отвечал с готовностью, но не спеша: “Поклёвывает, и неплохо. Лучше всего на утренней зорьке, когда тихо, когда над рекой ещё стоит туман. Хорошо берёт в заводах, возле травы, у обреза. Попадается линь и лещ. Есть крупная плотва, густера с ладонь. На дно надо опускать насадку. Если в полводы — мелочь не даст подойти крупной рыбе. Крупная берёт только со дна. Клюёт на червя, на пучок. Подсекать надо, когда поплавок (у него из пера аиста) ляжет. Но и здесь не надо спешить, пусть немного потянет, тогда — бери его! Когда лещ, даже крупный, идёт легко. Но надо поднять его на поверхность, дать глотнуть воздуха, тогда он на некоторое время застынет — и тяни его спокойно к лодке, бери за жабры, бросай на дно. А вот с линею тяжелее, хотя его также надо тянуть поверху, леску нельзя расслаблять. Там же, у травы, в полводы попадается и крупная плотва. Ну, это уже на любителя”.

Рыбаки любят, когда кто-то рассказывает, где, как и на что ловится. Таких уважают, угощают папиросой. Могут предложить и стаканчик. И угощали, и предлагали. Благодарил. От стаканчика отказывался, как и от папиросы: не пью, лета уже не те, да и на воде опасно. И не курю, давно бросил.

Случалась, кто-то из парней просил продать рыбу: “Дома похвастаюсь, какой я рыбак! А вы говорите, мелюзгу приношу”. Продавал. Когда спрашивали, сколько дать, отвечал: “А сколько дадите”. Обычно расщедривались: а старик не скупой... Тогда и мы не пожадничаем: возьми! Много? Ничего, батя, когда и где ты ещё заработаешь...

В такие дни, когда встречал неудачных рыболовов и отдавал им свой улов, а они за это щедро расплачивались деньгами, в город заходил ненадолго. Причём только в тот же магазинчик напротив дома Архипа, чтобы купить самое необходимое, и сразу же — назад, к челну.

Посетителей там всегда было мало, в основном старики, жившие поблизости, женщины да детишки. Никто на него не обращал внимания.

Здесь он купил Теклюшке валенки, плюшевую жакетку, платье, лёгкий и тёплый платки. Себе из одежды ничего не покупал — есть, что носить.

Когда привозил Теклюшке обновки, укоряла: “Зачем так деньги транжирить?” Но по глазам видел — светлели, по улыбке — радуется покупкам. Особенно радовалась она цветастому лёгкому платку, который сразу же набросила на плечи и спросила, шутя:

— Помолодела ли?

Улыбнулся, ответил:

— Ты у меня всегда молодая...

Улыбался, а на душе было тревожно: каждый поход в город — волнение, да ещё какое! Плыл отсюда, волновался: а вдруг со мной что случится...

Возвращался из города — также тревожился: как там Текля...

Знал, боялась и она, провожая его к челну, успокаивала:

— Не волнуйся, Осипка, ничего со мной не случится. (Она всегда так его называла, когда-то придуманное Ефимом “Иосиф” ей никогда не нравилось — чужое.) Я вот здесь затаюсь (показывала в густую заросль можжевельника недалеко от родничка на меже между хутором и болотом) и буду тебя ждать. Надо тебе плыть, ничего не поделаешь. Продашь всё, да сразу назад, не задерживайся. Город есть город, чужой он нам с тобой, и люди там разные.

Соглашался, говорил:

— Я мигом. Ты уж себя смотри, Теклюшка, а за меня не бойся. Я осторожно, ни один бес за мной не уследит. А пока в доме побудь, ночь ещё не сошла, холодно. А когда тепло станет, можешь и по меже походить.

— Перекрестись, — говорила она и, собрав три пальца вместе, творила над ним крест: — Боже, сохрани и помилуй раба Твоего Осипа.

И он спешил и туда, и назад. Как только начинал резвиться рассвет, выходил из дома, направляясь к болоту, к кладкам. В это время, если бы кто и хотел проследить за ним, когда шёл по трясине по кладкам, не проследил бы: за два шага ничего не видно. А ему что, он и с закрытыми глазами пройдёт здесь: это его болото, и кладки его.

Плыть в город по течению, конечно, легко. Назад хуже. Каждый раз, плывя против течения, чувствовал, как убывают его силы. Боялся, что вскоре вообще не сможет грести против течения и не сможет отталкиваться шестом от дна. Боялся, но Теклюшке не говорил об этом, не хотел её тревожить.

Возвращался из города всегда ещё засветло. Прятал чёлн в тростнике в заводи, набрасывал на плечи мешок с покупками и, как только мог, спешил к ней. По плахам, по болоту, кажется, шёл тихо, сапогами не шлёпал, а она ещё издали слышала: он, её Осип. Шаг у него осторожный, размеренный: туп, туп, туп... Кажется, и дыхание его слышала: тяжеловатое, будто придерживает его.

Когда Иосиф поднимался к родничку, выходила навстречу, спрашивала:

— Небось, устал, Осипка?

— Да нет, — говорил он, снимая с плеч мешок и останавливаясь возле неё. И, чуть отдышавшись: — Дай я тебя обниму, соскучился.

Она стыдливо шурилась — не молода, чтобы обниматься, — но лицо подставляла. Он обнимал её, прижимал к груди, огрубевшей рукой гладил по голове. Она молчала, не шевелилась, будто боялась спугнуть ту кроткую нежность, которая наполняла его.

Ему казалось, что эта нежность исходит откуда-то издалека, наверное, с того времени, когда они были молодыми, когда ещё ничто не предвещало той беды, которая их так надолго разлучила...

— Как же мне хорошо, — говорила она. — Век бы так с тобой стояла.

Это была поздняя нежность. Это было не утихающее эхо их далёкой любви, вспыхнувшей однажды между ними много лет тому назад на сенокосе в Демковских болотах, когда вдруг встретились их взоры, и всё вокруг озарилось ярким светом, встревожило, взбудоражило души, и не известная им до той поры щемящая сладость чувств опьянила и его, и её...

А было так: шёл он солнечным утром, чтобы скосить лужок между зарослями лозняка, а навстречу ему — она с кувшином в руках...

...И встретились глаза — его и её... И озарились души дивным, не известным доселе им светом... И у него, и у неё вскружилась голова... И он, и она ощутили одно: как же жил он и жила она на свете, не зная такого чувства, которое когда-то люди называли любовью...

И ни время, ни холода и метели, ни расстояние между ними в тысячи километров, ни длинная жизнь порознь, когда у каждого были свои горечи и беды, ни обиды его на неё, а её на него не смогли погасить в их сердцах то пламя любви...

...И вот, когда он приплывал из города, она, услышав его шаги, выходила из можжевельника навстречу. Иосиф обнимал Теклюшку, и они долго стояли обнявшись, будто прислушиваясь, она — к тому, что сейчас делается у него на душе, а он — к ней. Случалась, она могла пошатнуться, тогда он, поддерживая её, говорил:

— Пойдём. Ноги твои...

— Да не ноги это. Мне так хорошо, просто голова кружится. А ноги вылечились и уже отдохнули — где же они здесь находились бы? — не болят.

Язвы на её ногах действительно зажили. Она долго прикладывала к ним подорожник, затем, когда язвы зарубцевались, парила ноги отварами из берёзовых почек. По усадьбе ходила в мягких лаптях. Точнее, ходили они вместе, она осматривала усадьбу и всё качала головой, дескать, сколько же лет пустует такая хорошая земля.

А земля действительно пустовала. За то время, как её не обрабатывали, она густо заросла травой, и чтобы сеять, надо было бы иметь лошадь и плуг.

Иосиф видел, как Теклюшка скучает по крестьянской работе. Скучал и он. И не только теперь, а все эти годы, живя здесь. Конечно, он давно мог бы обрабатывать какой-нибудь кусочек земли. Мог бы косить — косы в сарае были, между прочим, как и плуг, и борона, и лопаты, и грабли. Наверное, когда отсюда уводили семью, новым “хозяевам” жизни надобности в инструменте не был. Не косил, боялся: вдруг пролетит самолёт, заметит...

5

Случилось это через месяц после того, как Иосиф привёз Теклю на хутор.

Однажды, когда он пошёл к реке проверить вентери, она, ожидая его, ходила по усадьбе. Ей было интересно узнать, чем занимались хозяева хутора, осмотреть постройки: может быть, в какой следовало бы навести порядок, ведь прошло много времени с тех пор, как семья ушла отсюда. В доме она уже давно всё прибрала. Окна светятся, лежаки застланы тем, что Иосиф привёз из города, возле печи — вилы и ухваты, на полке, приделанной к стене справа от двери из сеней, — глиняная посуда, в запечке — чугуны. Словом, заходи и живи...

И в сенях был порядок. Здесь Текля также всё вымыла и даже разбрасывала по полу польнь, как обычно делали женщины в её деревне, чтобы не было мух. А вот крыльцо сколько ни натирала, не посветлело, как было чёрным, таким и осталось, доски подгнили. Иосиф собирался сделать новое.

Ходила Текля по усадьбе, осмотрела пустую покосившуюся кошару, из которой давно уже выветрился запах, разве что ощущалась горькая пыль — мёртвое без животных строение. Потом подошла к сараю, стоящему чуть дальше. Покосившиеся ворота были прикрыты, ощущение такое, будто кто-то недавно был там, но вышел, чтобы вскоре возвратиться. Постояла перед ними в нерешительности, затем потянула за засов, ворота пронзительно закричали, да так, что по телу пробежала дрожь. Отпрянула, хотела уйти, но любопытство остановило: внутрь влился солнечный свет, упал на доски, сложенные у противоположной стены, на длинный невысокий ящик, стоящий на двух кругляках. Возле ящика, словно жёлтая дорожка, рассыпана свежая стружка.

Застыла, в глазах потемнело, в висках застучало, жаром пахнуло в лицо — гроб ладил Иосиф. И недавно, пожалуй, перед их встречей закончил, ещё даже стружки не убрал. Для кого?.. Неужто для себя?..

Тяжёлый вздох вырвался из груди, поняла, кому предназначалась домовина — так гроб в Демках называют. Не вскоре в себя пришла, подумала, что готовился Осип к уходу. Ну, что ж, если отстранённо рассуждать, так здесь нет ничего удивительного, старый человек. Помнила ещё с детства: случалась, в деревне старики мастерили себе гробы. При этом меж собой спокойно говорили, как о чём-то обычном, необходимом, дескать, сам сделал, так буду знать, во что положат...

Был гроб и у её дедушки по отцу. В клетке стоял несколько лет, прежде чем по назначению пригодился, он рожь в него насыпал. И ничего, привыкли. Так это же в деревне, там другое, там люди. А здесь Осип что думал, на что рассчитывал, когда делал?

Пошатываясь, словно на чужих ногах, вышла Текля из клетки, направилась к меже, к родничку его встречать. Стояла там, ветер шумел, где-то рядом скрипело старое дерево, дятел стучал, никак не могла прийти в себя, понимая, каково ему было все эти годы. А через какое-то время из кустов неслышно показался Осип, неся весомую сумку рыбы. Глянул на Теклюшку, остановился, заметил, что она растерянная и какая-то встревоженная, испуганно спросил:

— Что случилось?

— Ничего, — вздохнула она, качая головой, — в клетку зашла...

— Вот оно что, — сказал он. — Было. Заскучал. Набрал в голову. Ну, и сладил. Думал, пусть будет. Думал, почувствую, что время моё на исходе, затаю куда подальше, лягу и буду ждать... Изрублю!

— Зачем? Не руби. Пусть долго не надо будет. Забудь...

— Забуду. И ты забудь.

— Хорошо...

6

...Вспомнил сейчас всё это Иосиф, лёжа на земле, вновь попробовал подняться. И вновь полоснула мысль: “Как быть дальше?..” Больно полоснула, сжался, помнил, какой ужас охватывал, когда, случалось, в голове навязчиво возникало: а кто же первый...

И хотя прочь гнал эту мысль, но редко когда получалась избавиться от неё. Особенно угнетала она в тот день, когда Теклюшка увидела гроб. Укорял себя за то, что не разобрал его сразу же после того, как привёз её сюда. Хотя и помнил о нём, совсем не уместном сейчас, но как-то не находил времени его уничтожить.

Конечно, иногда забывал о нём, особенно когда были вместе, когда сидели за столиком в сених или на старом крыльце и говорили, когда им было хорошо...

Пришли они тогда к дому, Иосиф молча высыпал рыбу в корыто в сених — четыре больших, словно боровы, линия, огромная щука — и не знал, о чём говорить. Теклюшка тихо подошла к нему, понимая, что у него на душе, сказала:

— Да выбрось из головы, Осипка. Что Бог даст, то и будет.

— Выброшу...

Больше она в клеть не ходила. Не ходил и Иосиф, будто забыл. Хотя забудешь ли, не для того делал. Делал, поторапливаясь, рассудительно, будто что-то очень нужное, без чего человеку вскоре нельзя будет обойтись. И никаких особенных чувств не было: сделаю такой, какой хочу, себе делаю. Казалось, руки давно отвыкли от столярного дела. Ведь сколько лет миновало, когда вместе с Ефимом возводил людям дома. Вот и размял руки. Ощущал, как поддается дерево. Не забыли, как держать инструмент. Не дрожат, когда ведёт по доске сначала рубанок, затем фуганок. Делал несколько дней. Кажется, даже позабыл, что делает, доски строгал с какой-то успокаивающей одержимостью, наслаждался запахом смолы, свежей стружки.

Хотя доски были старые, но не подгнившие, хорошо высохли, лёгкие, лежали в штабеле, по-хозяйски переложенные реечками, чтобы между ними ходил воздух. Всё честь по чести, отвердели, смола застыла, взворошил её рубанком — лесом пахнет... Снял первую стружку, вторую — жёлтая доска, ровная — загляденье!

Должно быть, хозяин когда-то намеревался пустить эти доски на пол, или на какую-нибудь пристройку к дому. Ещё бы! Толстые, пятёрка (пять сантиметров). Пилили их тут же, около сарая. Здесь до сей поры стоят высокие чёрные козлы. Наверное, пилил с кем-то из старших сыновей. Говорил же Ефим, что ещё когда он юношей работал здесь у Антона, у того детишки уже были: двое мальчишек, одному лет семь, другой чуть постарше. Доскам же не более лет пятнадцати — двадцати. Иосиф видел это по тому, как они почернели, — не очень глубоко. Сосна хорошая, зрелая, жучком не поточена. Конечно же, Антон знал в дереве толк, сразу видно.

Пожалуй, сам стоял наверху, а сын внизу. Вверх тянуть пилу легче, а вниз — силу приложить надо. Обычно молодого снизу ставят, пусть показывает, на что способен, пусть учится, пока отец в силе...

Лиц хозяина и его сына Иосиф не представлял. Представлял только, как двое, старший и молодой, затаскивают на козлы хорошо просохший окоренный сосновый чурбак. Не длинный, двухметровый, с таким вдвоём не так уж и тяжело справиться. Сначала подают наверх комель, укладывают, чтобы не соскользнул, затем — второй конец. Конечно, перед этим подалее отогнав малых, которые крутятся рядом, — дети такое дело не пропустят. Кору собирают в корзинки, несут матери. А она из той коры, подбросив щепы, под таганком разведёт огонь, чтобы сварить в горшке картошку. Очень вкусная она будет, когда и малые заняты делом.

Таким временем весело около дома. А когда делали гроб, детишек — подалее из подворья!..

Вот как задумано природой: доски из одного дерева можно и на жилище пустить, и на гроб. И работа у человека — дом возводить и гроб делать — одними и теми руками.

Иосиф вместе с Ефимом домов поставил немало. А вот гробы они не мастерили. Случалась, просили люди, отказывались они с Ефимом, дескать, иди, человек, к тому-то и тому-то, те умеют, они немало за свою жизнь их сколотили.

Эта было привычным делом. Жизнь есть жизнь. Такие и себе заранее делали гробы. И хотя немного было таких мужчин, на деревню два-три, но были. В Гуде, помнится, дед Фёдор и дед Кондратий. Погибли в войну, сгорели. Людям гробы ладили, а сами... Ветер их пепел развеял, как и всех остальных гудянцев, кого фашисты согнали в клуб, когда жгли деревню...

Ну, что ж, думал Иосиф, если сделал, пусть будет. Только как-то нехорошо получилось. Да и чужие доски взял. Одно оправдание, что не было, у кого спросить. Хотя, когда вернётся хозяин, ему вряд ли объяснишь свою прихоть. Разве что попробует выкупить, деньги же есть. А если случится, что не дождётся хозяина, деньги лежат в доме на полочке, с которой сняты иконы и над которой висит потемневшее полотенце — найдёт. Место заметное.

Пожалуй, Текля ощущала, что он страдает из-за этой вещи, которую она неожиданно увидела, и на следующий день сказала ему:

— Может, по дрова пойдём, Осипка. День-два, день-два — и не заметишь, как дожди пойдут, похолодает. А там и зима ляжет.

— Пойдём, пойдём, — обрадовался он, рассчитывая, что такое занятие развеет грустные мысли.

А дрова, пока ещё тепло, действительно надо было заготовливать — собирались здесь зимовать. А где же ещё...

Дрова заготавливали около болота, этого, большого, которое сегодня перешёл Иосиф. Сушняка здесь было много. Хороший сушняк: сосенки, березняк. Пилили двуручной пилой вдвоём. Носил же он один под навес, Текле не позволял: не женское это дело.

Перезимовали, как она говорила, горя не зная. Крупа была, рыба была, зайчатина, сушёные и в кадушках грибы, ягоды. Хутор не оставляли. Правда, однажды натерпелась страха. Как-то открыл Иосиф двери из сеней, а из-за реки катится эхо выстрелов: бух, бух... Глухое, далёкое, еле слышное, но ведь стреляют...

Понял Иосиф, что там, за рекой, кто-то охотится. Не дай Бог, сюда явится. Хотя понимал, что вряд ли: болота вокруг хутора засыпаны снегом, но лёд тонкий, умный человек не будет погибели искать. А всё-таки...

— Что там? — испуганно спросила она из сеней. — Люди?

— Охотится кто-то. Не бойся, сюда не придёт.

Вернулся в сени, захлопнул дверь, изнутри набросил защёлку, долго сидели молча. А под вечер разыгралась метель, снег залепил окна. Радовался Иосиф: заметёт их следы на усадьбе, и человека сюда не пустит, если у того есть голова на плечах, домой пойдёт тем же путём, что пришёл...

После этого с хутора далеко не уходили. Если и удалялись, так раза три, когда Иосиф ставил петли на зайцев. Вдвоём ходили, не мог он оставить одну Теклюшку. Он — на лыжах, она — в снегоступах. Лыжи у него были. Сделал ещё в первый год, как остановился здесь. Из берёзовых плашек сделал, широкие, лёгкие. Обстрогал плашки, затем хорошо распарил в чугуне, чуть пригнул заострённые носы, приладил крепление из резины — нашлась и она в сарае, не лыжи — кукла.

Текля на них не стала. Ей сделал из еловых лапок, как она говорила, снегоступы. Сама подсказала, делали люди там, где жила в ссылке. Удобные. Ходила в них в валенках, что ещё осенью он привёз из города, последний раз перед зимой выбравшись на базар.

А оставил он её одну на усадьбе весной, в конце марта: надо было ему петли проверить. День солнечный был. Тогда последний раз видел её живой...

7

...Внутри у Иосифа не утихала буря. Сталкивались, смешивались, вихрились и грустные, и радостные воспоминания. Всё смешивалось, и горестное затягивало всё хорошее, что когда-то было в его жизни. Хотелось хоть немного света. А его не было. А когда и был, так не здесь, не рядом с ним, а где-то далеко, неуловимый и чужой, из чужих жизней. Из тех жизней, которые проходили мимо него в довоенной Гуде. Там люди жили. Детей рождали, дети росли, женились, выходили замуж... Сами рождали и растили детей, становились старыми, умирали... Вот такой извечный круг, вот так задумано Тем, кто создал землю и всё на ней, в том числе и человека...

Казалось, что у каждой семьи, только не в его, всё было в ладу. Казалось, там, в чужих семьях, любят и дорожат друг другом муж и жена, жена и муж. Казалось, там дедушки и бабушки радостно доживают своё, находя утешение во внуках.

Радость, неизвестную ему человеческую радость за детей и внуков, видел Иосиф у соседей и односельчан в довоенные времена. Видел и вчера в городе, когда неизвестная женщина, чем-то похожая на его мать-мачеху, говорила ему о своей дочке и внуках.

Несомненно, радость была и у Кати, и у Нади, когда вчера они со своими детишками шли из города через мост к шоссе, чтобы остановить попутную машину и поехать домой, в Гуду, где их ждут.

Радость за них наполняла Иосифа, когда увидел, что никто за ними не идёт... И долго его согревала та радость: живут, как и все люди, детей растят.

А сейчас у него никакой радости: одиночество, леденящее душу, да угнетающая беспросветность. Вот и всё, что владеет им.

“Боже, что же это за наваждение на меня”, — прохрипел он.

В ответ — ни звука.

Да и не ждал он ответа! От кого? Один он здесь среди непроходимых болот, среди густого леса. Хрипи не хрипи, никто тебя не услышит, и даже эхо не отзывается. Чтобы отозвалось, кричать надо, да так, чтобы не то что лес, мир вздрогнул. Но нет мочи...

Лежит на земле, над ним — небо, голубое, хрупкое, с белыми перистыми облаками. Земля под ним, кажется, уже тёплая, телом нагрел, что ли... Значит, душа ещё теплится. А может быть, душа здесь ни при чём. Наверное, всё же за день нагрелась земля-матушка пока ещё не ослабевшим, хотя уже почти осенним солнцем.

Лежит, а вокруг него гряда леса, с которым сжился за эти годы, за лесом — болото справа и слева. И с ним сжился, да ещё как...

С правой стороны, километров за десять отсюда, — шоссе. Оно за большим болотом. Добираться через болото к шоссе, по которому два раза в неделю из области в район и назад ездит его хороший знакомый шофёр Сергей Говорков, Иосифу с каждым разом всё труднее. А сейчас, должно быть, он уже и не сможет, совсем обессилел, износился, как старая одежда.

Проезжает Говорков и около Гуды, правда, далеко от неё, но проезжает. Слева за болотом, намного меньшим, чем то, которое он сегодня преодолел, река. Дубосна. Она протекает возле Гуды.

По реке против течения, если бы и хотел Иосиф, в Гуду ему не добраться, не хватит силы шестом править, чтобы завести чёлн к деревне, очень далеко она.

Конечно, можно сказать самому себе: “Иди берегом, Иосиф”. Сказать можно, только идти надо будет неделю, если не более, и только до холодов, иначе быстро окочуриться.

И в город он не поплывёт, никто Иосифа там не ждёт, уже два года как нет его товарища Архипа, человека, который поддерживал, который ему помогал и которому Иосиф так и не открыл своего настоящего имени.

В западне Иосиф. Когда-то искал на хуторе избавления от людей, а вышло, сам себя загнал в ловушку: отсюда ему, если бы и хотел, вряд ли вырваться. Да и не будет он вырываться!

Сергей Говорков теперь единственный во всём свете сочувствующий Иосифу человек. Сергею можно было бы и горе своё открыть, но не открыл, что-то сдерживало, наверное, стыд: не хотел Иосиф, чтобы тот жалел его. Много раз пытался Сергей разузнать, с кем Антон (и ему своё настоящее имя Иосиф не открыл) живёт после того, как умерла его “хозяйка”, но тот отвечал: “Живу пока живётся”. Говорил, но боялся, что Говорков возьмёт и перед зимой насильно потащит его в свой город или в свою семью, или в дом престарелых пристроит: говорил же, что есть в области такой, где содержат одиноких пожилых людей.

Нет, не надо Иосифу такой заботы, не будет он мешать чужой семье. И дом тот для стариков не для него.

Вчера, выбираясь в город, Иосиф Говоркова не ждал. Пришёл к шоссе намного раньше, чем тот должен был проезжать у того места, куда выходит Иосиф, направляясь в райцентр. Впервые не хотел встречаться с ним, не хотел, чтобы Сергей заметил, что Иосиф сам не свой. От Говоркова ничего не спрячешь, кажется, видит, что у тебя на душе. Начнёт выспрашивать, что, почему да как. Не скажешь же, что за Теклюшку мстить едет. Мало того, что осадит, так, чего доброго, ещё и замкнёт в кабине, повезёт в область и не спросит, хочешь ты того или нет. И будет Говорков прав: не на пирушку Иосиф в город выбрался, а на дело преступное.

Если бы вчера не встретил женщин и их детей, наделал бы Иосиф глупостей. Должно быть, столкнулся бы с теми, кто Теклюшку обижали. И что бы он им сделал? Соли на хвост насыпал? А вот они, что хотели бы, то с ним и сделали бы.

Получается, что какая-то неподвластная сила, какое-то предопределение не позволило ему взять грех на душу. Значить, не зря Теклюшка просила, чтобы не мстил за неё, когда однажды проговорился, что никому не простит издевательств над ней. Просила не трогать не только её обидчиков, но и вообще никогда ни на кого не обижаться. Повторяла:

— Люди говорят, тому, кто прольёт чужие слёзы, они рано или поздно отольются своими.

— Слышал, — говорил он. — Когда-то тоже среди людей жил, но почему-то, кажется, не видел этого.

— А если бы и видел, так какая радость? — пытаюсь урезонить его, продолжала она. — И мои слёзы отольются всем, кто меня обижал. И твои — тоже. Только, говорю тебе, Осипка, утешаться чужими слезами не надо. Какое утешение тебе, если кому-то плохо?.. И не вправе мы с тобой судить людей. А хорошие люди по всей земле живут. Я же столько прошла по ней, прежде чем тебя встретила. Если бы не они, не быть бы нам вместе. Помнишь, говорила, что уже умирала, когда меня одна женщина подобрала. Я даже не знаю её имени, и веры она не нашей была, а спасла меня. И когда молюсь, за неё хочу помолиться, а за кого, не знаю. Молюсь за неё, лицо её представляю, говорю: “За спасшую меня рабу Божию”.

— Говорили когда-то старые люди, — Иосиф приподнимал голову, показывал на небо, — когда есть Он — разберётся, кто какой. За человека можно молиться, не называя его имени, представляй его, и этого достаточно.

Я тебе также рассказывал, как зимой сорок четвёртого года видел встречу двух братьев-воинов. Один — инвалид, ехал с фронта, второй — здоровый, на фронт. Так вот, тогда я слышал такую молитву, в которой имена не назывались. “...За раба Божеского солдатака”, — так молилась одна женщина. За него, а значить, за всех, кто воевал, молилась. Может быть, и за сына своего или за сыновей. Пожалуй, надо, чтобы вера была у человека.

— Не будет веры, Осипка, не будет и человека. Сам человек, конечно, будет, но полый. Без души. Нет души, кто ты тогда такой, когда ни сочувствия к другим, ни боли у тебя, ни радости — ничего тебе не надо, только живот набить. Вот и вся жизнь.

Когда не веришь в Бога, то надо верить в людское добро. Это я также от женщины, спасшей меня, запомнила. Наверное, если бы я не верила, когда меня еле живую те мужчины и женщина поставили на базаре просить подаяние, не выжила бы, тебя не дождалась бы. Стояла, из-за слёз света Божьего не видела. Столько людей мимо меня ходило, и, пожалуй, никто не задумывался, почему я здесь. Бросали медяки, и каждый — как камень в душу. Насквозь её пробивали. А я на них не злилась. Верила, кто-то же найдётся, спасёт меня. А это же — ты! Ты и должен был это сделать. Вот и верь, и не верь после этого.

— А я и верю, — говорил он. — Раньше не верил, а долго пожив в одиночестве да тебя встретив, верить стал. Иначе как истолковать всё, что со мной и с тобой произошло?

— И не надо истолковывать. Есть то, что есть, свыше написано нам так. Вот и всё толкование.

Когда она так говорила, понимал Иосиф: мысли Теклюшки уходят куда-то глубоко, туда, куда его не доходят, и её покорность судьбе — какая-то тайная, уж очень по-женски личная. Может быть, эта её жизненная мудрость — быть покорной — и сберегла Теклюшку.

Если так, то эта мудрость проявлялась и в том, что Теклюшка просила его, когда она умрёт, не идти в город и не мстить за неё, и вообще ни на кого не злиться. Говорила одно: “В Гуду иди...” Значит, верила, что там его место, среди своих людей. Вот как: он просил её, если что с ним случится, идти туда, а она его. И конкретно к кому? К Ефиму, прежде всего, на него надежды более, чем ещё на кого.

Говорила она это часто. Особенно в последнее время. Пожалуй, что-то предчувствовала.

Он с ужасом представлял, что будет с Теклюшкой, когда не станет его. Иосиф и вообразить не мог, что может случиться так — он похоронит её...

...Пока с лодки была видна Гуда, Ефим и Валик молчали. Валик вывел лодку на стрежень, поставил её носом по течению, и сейчас деревня была перед Ефимом, как на ладони. Отстроенная, не такая, как до войны, не в одну улицу — от реки, от того её изгиба, где пригорок, и до того, где дамба, — а в три. Одна длинная, довоенная улица, и две новые, пусть и не такие большие, как та.

Вдоль улиц дома стояли ровными рядами. Большие, как на подбор, глухой стены нет ни у одного строения, с двумя-тремя окнами на улицу, с четырьмя — на подворье, с двумя — к соседу, на той стене, где печь и кухня.

Это были дома приезжих, рабочих лесоучастка. Дома же Кати, Игнатия и Нади Соперских, Ефима, Михея и Николая, поставленные раньше, в первые два года после войны, выделялись: поменьше, пять на семь метров, и окон не столько, хотя также все без глухих стен.

Возводили жилища Ефим, Михей и Николай, правда, им помогали несколько мужчин из Забродья, Савка привозил. Срубы ставили сразу после того, как построили дом Наде. Дома возводили на своих усадьбах, но не на месте сгоревших, а чуть в стороне: Ефим говорил, что на сгоревшем строиться не надо, нехорошо это.

Но прежде чем строиться, разбирали обгоревшие печи, ровняли их с землёй, закладывали дёрном площадки, на которых когда-то стояло жильё.

С реки хорошо была видна и дамба. Длинная, подковой, высокая, серая земляная насыпь, покрытая бетоном; около неё покачивалось на воде с десятков лодок.

Когда насыпали дамбу, там, где она заканчивалась, у пригорка на сгибе реки отходила от деревни, мужчины сделали, как сказал кто-то из приезжих, бывших моряков, причал, где и держали лодки — это был длинный мостик из досок вдоль берега.

Солнце уже стояло высоко, вокруг было светло. Сиял залитый желтизной дуг. Он был слева и тянулся до самого Забродья. Оно так же, как и Гуда, отстроилось, разрослось, но там, как и до войны, остался колхоз.

От реки веяло холодком, но Ефим, кажется, не ощущал этого. На его плечах была военная, без погон, ношенная шинель. Её ему как-то дал Савелий, увидев, что старик в холода носит немецкую. И вообще одет Ефим был в военное, с плеча Савелия: гимнастёрка и галифе, на голове — фуражка без кокарды, на ногах — сапоги.

В военном был и Валик. В отцовском. Парень ростом уже догнал отца, взрослый, школу в Забродье оканчивал, отлично учился, педагоги радовались за такого ученика.

Ефим гордился, что Савелий дал ему обмундирование. Как и большинство деревенских стариков послевоенного времени, он носил то, что давали бывшие воины. Купить штатское денег не было. А когда и появлялись, откладывал, собирал Кате и Петрику: вдова, и мальчик без отца растёт.

Иногда Ефиму казалась, что эту одежду ему через Савелия каким-то образом передали сыновья: после победы они задержались где-то по воинским делам, пожалуй, в каком-то секрете, писем оттуда писать нельзя, а вот обмундирование для отца можно переслать. И передают, заботятся о нём.

Когда Савелий дал своё воинское обмундирование Ефиму, он положил немецкую шинель на колоду, изрубил, бросил в печь у сарая на пригорке. Жёг так, чтобы никто не видел, хотя при Валике это было. Тот в свободную минуту всегда ходил с Ефимом. Многому учил парня старик: и как рыбу ловить руками и вентерями, и как править лодкой по течению и против течения, и как её просмаливать, и как правильно держать топор. Да как в лесу ориентироваться, находить к дому дорогу, и как не замерзнуть, случись искупаться в ледяной воде...

Мальчишкой тогда ещё был Валик, но всё его интересовало, всю бесхитростную дедову науку, как и что делать, усваивал быстро и удивлялся, если кто из сверстников из Забродья с нею был не знаком: как так, мы же на реке живём, да и в леса ходим, а река и лес суровые, человека не балуют,

случись с ним что. И объяснял, что нужно делать, если невзначай попадѣшь в беду.

А тогда, глядя, как Ефим рубит немецкую шинель, затем бросает в печь, Валик ничего не спрашивал, молча взял палку и ворошил сукно, чтобы скорее горело. Понимал, как опостылело деду Ефиму вражеское, ворошил и морщился, отворачивал нос, а когда сгорело, как взрослый, вздохнул с облегчением. Было это в сорок пятом...

Плыли, деревня всё отдалялась и отдалялась, пока не исчезла за поворотом, когда река вошла в лес. Тогда Ефим подумал, что зря не предупредил Савелия, отправляясь в такой непростой и далѣкий путь, в Кошару. Тот, как только узнает об этом, набросится на мужчин, дескать, зачем пустили старика, да ещё немощного, в такой путь, пусть и с Валиком. Мало ли что может случиться, река, как только войдѣт в леса, безлюдная. И как любил говорить Савелий, когда ему надо было кого-то убедить в своём: “И вообще...”

Это: “И вообще...” означало многое. И такое: вдруг старику станет плохо, кто поможет парню? Знали, в последнее время Ефим нередко хватался за сердце, морщился от боли, садился где-нибудь, ждал, пока отпустит.

Когда ему говорили, чаще всего женщины, что надо ехать в Забродье к фельдшеру, отмахивался: “Ничего страшного, износился, случается”.

Женщины чуть ли не ссорились с ним: “Дядя, что ты себе думаешь!” Опять отмахивался.

Однажды Савелий привѣз фельдшера, пожилую женщину, чтобы послушала старика. Ефим заупрямился, но та прикрикнула: “Что за отношение к своему здоровью? Если бы на фронте — вредительство, и под трибунал! А ну в дом! Я вас немедленно обследую”.

Ефим думал, шутит: под трибунал!.. Но посмотрел на её не то что строгое, а не по-женски суровое лицо и растерялся... Не была бы военврач, не подчинился бы. Что она бывший военврач, все знали. Фѣдоровна — так её называли — жена председателя тамошнего колхоза, фронтовика Жолнеровича. Их прислали из города восстанавливать сельское хозяйство. Также знали, шутить с ней не надо, отбреет так, что потом хоть не попадайся ей на глаза. Фѣдоровну и муж побаивался. И знали, что в медицине она разбирается, послушает больного, посмотрит, поставит диагноз и, если надо, отправит в районную больницу, а там скажут: “Если Фѣдоровна определила, так и есть...”

Фѣдоровна, прослушав тогда Ефима, велела: “Не волноваться, ничего тяжѣлого не поднимать, покой, из дома никуда не отлучаться”. Словом, если следовать её указанию — ложись старик и умирай. Дала ему каких-то таблеток, сказала, как принимать, пообещала договориться в районной больнице с очередью, чтобы определить туда Ефима: “Надо пройти курс стационарного лечения”.

Поехала, а Ефим сам не свой: только её не хватало на его голову. А здесь ещё Катя: “Дядя, таблетку возьми!..” И так три раза в день. И вот чудеса — помогло, не знает теперь Ефим, где у него сердце, а раньше тряслось, будто хвост у зайца. Болит, не болит сердце, а, как думал Ефим, Савелий, узнав, что он поплыл, всыплет мужикам: “Как же вы могли отпустить старика в такую дорогу, зная, что нельзя ему отлучаться от дома?!”

Ну, и пусть! Переживут. А Ефим, как только вернѣтся, скажет ему: “Зря ты так на них, Савельюшка, зря. И даже ты меня ничем не остановил бы! И какая может быть вина, если всё хорошо? Вот и Иосифа привѣз. А ты говоришь...”

То, что назад они приплывут с Иосифом, Ефим не сомневался. И Савелию будет облегчение: он ещё много лет назад говорил, что было возбуждено дело — исчез человек на его участке. Да не исчез, нашѣлся! Хотя сколько людей исчезло, не вернулось с войны домой, пропало без вести, как его сыновья, — не счастье. А что его Никодим и Ваня “пропали без вести”, так Ефим давно знает — бумажка такая есть. Савелий её от него долго утаивал. Утаивал и боялся, что когда-то это откроется, что тогда Ефим скажет ему? И что скажут Николай и Михай, да и другие сельчане?

Ефим понимает, что Савелий не имел никакого права скрывать документ. Знал, если это откроется начальству, участкового накажут. Может быть, даже исключат из партии, снимут с должности, отдадут под суд.

Давно знал. Каждый раз, встречаясь с ним, Савелий как-то виновато, словно мальчишка, отводил глаза. Но Ефим не показывал вида, что знает о бумажке. Понимал и оправдывал Савелия: оберегает меня, хочет, чтобы я верил, что парни живы, хочет, чтобы я ждал их. И сам верит, что вернуться.

Не догадывался участковый милиционер Савелий Косманович о том, что Ефим всё знает. Ничего ужасного здесь не было бы, если бы Савелий не втянул в это дело почтальонку Галию из Забродья — она обслуживала и Гуду. У Гали трое ребятишек. Если бы Ефим поднял шум, и ей не поздоровилось бы. Но Ефим молчал, понимая, что и Савелий, и Галина горе от него отводили. Был уверен, что они тоже не верили казённой бумажке.

Но как-то почтальонка не выдержала, призналась Ефиму. Было это вскоре после того, как домой, перед этим даже не написав письма, вернулся её Фока, мужчина старше Савелия лет на десять. Говорили, что после освобождения Галя на него получила такое же извещение: “Пропал без вести”. Видел Ефим Фоку. Изуродованное лицо, и без ноги. Говорили, Фока раненый попал в плен. Говорили, Галя бумажке не верила, ждала, и вот он, муж долгожданный, отец её детишек...

Перед тем, как Галя призналась Ефиму, что у Савелия есть казённая бумага на его имя, он приплыл в Забродье проведать старого друга Леонтия Кечика. Тот уже был очень слаб, через Савелия передал: “Хочу повидаться с Ефимом Михайловичем. Кликни его, да не медли. Наказ у меня к нему есть как к другу. Мы же с ним с молодых годов знаемся. А когда я партизанил, Ефим связным нашим был”.

— Знаю, Леонтий Киреевич, всё знаю, — сказал тогда Савелий. — Только не надо спешить. Василия дождись.

— Передай!..

Передал Савелий Ефиму просьбу Леонтия. Ефим сразу — в лодку, да к нему, к Кечику. Приплыл, лодку вытянул из воды, вышел к улице, навстречу Галя с сумкой идёт. Поздоровалась да прибавила шагу. И когда привозила почту в Гуду, Ефима избегала. Неспроста, думал Ефим, но прочь отгонял эту мысль: не так уж и хорошо знакомы, он старик, она молодая женщина, о чём говорить. Окликнул:

— Галь, что ты всё словно избегаешь меня?

— Не избегаю, тороплюсь, дядя Ефим. Всю деревню оббежать надо, а у меня детишки, муж ещё от ран не оклемался, хозяйство на мне.

— Ну, тогда поспешай!..

Нехорошо как-то стало внутри, кольнуло в сердце. Постоял с минуту, глядя, как удаляется Галя, к Кечику пошёл, дом его рядом, у реки. Тот встретил, лежа в постели, попробовал улыбнуться, сказал, словно оправдываясь:

— Видишь, Ефим Михайлович, скрутило меня, извиняй, что лежа тебя приветствую.

— Ничего, Леонтий Киреевич, случается. Как скрутило, так и открутит.

Нагнулся к постели, обнялись. Не очень щедрые на слова, молча поняли друг друга: как там сыновья наши...

Долго говорили тогда Ефим и Леонтий. Дочка его, Верка, вместе с отцом была в партизанском отряде, после войны уехала учиться в Москву.

Говорил отец, на поэта. Стихи сочиняла, до войны их даже в газете печатали. Говорил Леонтий Киреевич, Верка куда только можно направляла бумаги, брата искала. Определённого ответа не имела. Но надежду не теряла, и отец не терял (жена его в войну умерла).

— И мой живой, и твои живые, Ефим Михайлович. Умру, так ты и моего сына дождись, — говорил Леонтий Ефиму. — Придёт мой Василий, не застанет меня, поговори с ним. Скажи, что отец ждал. Расскажи ему, как у нас здесь в войну было. Пусть знает, что и мы не сидели сложа руки, как могли немца били. Да скажи, что ты помогал мне, что мы не взяли тебя к себе в лес потому, что нам свои люди в деревнях были нужны.

— Вместе дождёмся и моих, и твоего, — отвечал ему Ефим.

Говорил и понимал, что прощается с ним старый друг. Неожиданно Леонтий спросил об Иосифе — когда-то они не сторонились друг друга.

— О Кучинском слышно что или нет?

— Ничего, как в воду канул.

— Явится, прочь не гони. Досталось ему. Мы следили за ним, по лесу ходил, как сын в гарнизон подался. Не иначе, как связи с нами Иосиф искал. Побоялись, мало ли что. А сейчас думаю — зря. Тяжело ему было одному. Человек он неплохой, ты не хуже меня это знаешь, дружили когда-то вы.

— Знать-то знаю, но каково...

Не ответил ему Леонтий Киреевич, наверное, подумал, что Ефим сам для себя должен решить, как с Иосифом быть, если вернётся.

А уже после, как Кечика похоронили, Ефим, направляясь к своей лодке, вновь встретил почтальонку. Только начал спускаться с улицы к реке по тропинке среди ивняка — Галя перед ним. И откуда только взялась? Не успел поздороваться, ошепил: упала перед на колени, взметнула над головой руки, запричитала:

— А мой ты дяденька! А родненький! Нет мне покоя. Грех ношу. Савелию бумагу на твоих сыновей отдала. Никому не говори, ещё посадят меня. А у меня же дети, трое, и Фока инвалид. И Савелию попадёт, да ещё как, он же милиционер.

— Но-но, — спохватился Ефим и склонился над ней. — Встань, дочка. Успокойся. Не надо, чтобы кто чужой это видел и слышал. Поймёт, в чём дело, ещё донесёт куда. И ты молчи. Я сыновей жду. А бумага — ошибка.

Говорил вроде спокойно, а в груди — огонь.

Поднялась женщина, схватила за руку Ефима, хотела поцеловать её, но он выдернул, обнял Галину за плечи, прижал к груди, как родную.

— Галинка, дочка, ты же не со зла. Хотела, чтобы мне легче было. И мне было легче, и сейчас легко: я же их жду. А как же? Вон и Фока твой пришёл. А бумага...

Махнул рукой, повёл женщину к реке. У лодки остановились, подождал, пока она успокоится, пока высохнут её слёзы, опять попробовал успокоить:

— Говорю тебе, Галинка, не бойся. Даже если бы кто и раньше допрашивал меня, клещами слова не вытянул бы. А теперь иди к семье, небось, ребятишки мамку ждут, и муж в окошко глаза проглядел.

Пошла. Смотрел Ефим ей вслед и думал: как же она страдала, пока не призналась ему... Ужасно, когда кто-то хочет кому добра, а потом сам страдает.

А через несколько дней в Гуду пришёл Савелий. Пристал к пригорку. Ефим лодку Иосифа осматривал, вынесли из хлева мужчины. Поздоровался, топчется рядом, порывается что-то сказать, но не решается.

— Савелий, давно вижу, ты со мной словно сам не свой.

— Почему же, Ефим Михайлович?

— Наверное, бумага на Ваню и Никодима тебе карман прожигает.

Смутился Савелий, заморгал, вздохнул.

— Брось, — продолжал Ефим, — знаю. И не виню тебя. Правильно ты сделал. Пусть она у тебя и будет, бумага та. Придут парни, вдрут к тому времени умру, тогда им отдашь её. Скажешь, отец ждал.

Отвернулся от старика бывший воин Савелий Косманович, долго молчал. Молчал и Ефим. Наконец, не выдержал Савелий, подошёл к старику, обнял:

— Прости, отец. Хотелось, как лучше... А что бумага?! Живые они.

Ефим осторожно освободился из его объятий, молвил:

— Вот что скажу тебе, дорогой ты мой Савелий Аркадьевич. Очень дорога мне твоя вера. Без неё я, может быть, давно б уже крылья опустил бы. Окончательно слёг бы. Иногда кажется, что падаю, нет больше мочи терпеть, а ты не даёшь, верой своей подымаешь. И не только ты, мужчины верят, что вернутся мои сыновья. И Катя с Надей верят.

— Говорил же, след их есть! — воскликнул Савелий. — Почти уверен, что Ваня, Никодим и Василий, сын Леонтия Киреевича, однажды ночевали на Страже. Говорила мне хозяйка, что в начале войны трое солдатиков,

выходя из окружения, у неё были. Старуха и сейчас там живёт. Я заезжаю к ней, когда в район еду или из района, проведываю, одна живёт она. Трое её сыновей в городе, и две дочки там, не часто к матери приезжают. Работой заняты, но мать к себе зовут. Не хочет ехать, говорит, человек мой здесь похоронен, куда я.

Так вот, зайду к ней, посидим, поговорим. Сказывала, похоже, что те парни из наших мест были. Слышала, говорили, родители их где-то недалеко от Стражи живут. Переночевали, собрала она им то-сё, и пошли они на фронт.

Как она их описывает, думаю, двое — это Иван и Никодим. Тёмные, как ты. Говорила, эти двое признались, что братья. А третий — их товарищ. Имен парней не помнит. Кажется, одного называли Василием. Хотя говорила, что точно сказать не может, за войну у неё много людей перебивало, много имён слышала, память уже не та, путается. А Василия запомнила: нос, говорит, пипкой. Он это, дядя Ефим, он. Я же помню, у Василия был перебитый нос. Сестричка, Верька, перебила заслонкой от печи. Малые были, играли, она заслонкой той почему-то крутила в воздухе, а он и подлез.

— Да, точно, у Василия нос пипкой.

— Вот только не понимаю, почему парни не пришли домой, если так близко были.

— А я тебе скажу, почему. Не могли Иван и Никодим меня послушаться, Савельюшка, — сказал тогда Ефим. — Я запретил, когда провожал их на фронт, говорил, что без победы дороги домой нет. А третий, если это Василий был, один не мог прийти: что отцу сказал бы? Говоришь, из окружения выходили. Могло быть. Хотя что-то не очень сходится, их же везли в поезде на какие-то то ли сборы, то ли на учёбу. Не на фронт, от фронта, так?

— Могли и не довести. Всякое на войне случалось. Так что будем ждать и искать.

— Будем. Только дай мне, Савелий, на день-два бумагу. Я в район съезжу, в военкомат схожу или ещё куда надо, подскажи. Скажу, чтобы не вздумали пенсию, если она мне положена, за сыновей насчитывать. Живые парни, живые.

Дал тогда ему Савка бумагу. Ефим даже не развернул её, дрожащими руками положил в карман. В район он съездил. Оказалось, не один он такой: какая-то старуха отказалась от пенсии за погибшего сына и даже не объяснила, почему.

Не спрашивал военком у Ефима, почему и он так сделал. Сказал, если отец так решил, надо написать бумагу, что от пенсии отказывается. Признался Ефим, что букв не знает. За него написали. Расписаться попросили, признался, что не умеет. Раньше вместо росписи крестик ставил. Теперь так нельзя, как это — поставить крест на сыновей?.. Тогда какая-то девушка взяла ручку, обмакнуло перо в чернильницу, затем, зажав тонкое древко в неуклюжую руку Ефима, положив на неё свою, вывела, вернее, вместе они вывели несколько букв. Прочитала: “Боровец”.

Седой, пожилой подполковник молча взял Ефима под руку, провёл к легковушке во дворе, приказал шофёру, молодому солдатику: “Доставить отца воинов к дому и доложить!” А на прощание пожал руку: “Крепись, отец, и жди”.

Вспоминая это, Ефим ещё не решил, будут ли они останавливаться напротив Стражи. По его расчётам, завтра, может, немного раньше полудня они с Валиком будут проплывать километрах в пяти от неё...

9

Текля умерла неожиданно. На его глазах. На новом крыльце, которое он, разбросав сгнившее старое, сладил из Антоновых досок.

Не сразу сделал. После того как привёз сюда Теклю, долго не брался за работу. Объяснял:

— Погоди, дай собраться, сделаю. Не крыльцо будет — кукла. Придёт Антон — залобуется. Скажу ему: вот крыльцо тебе, хозяин.

— Вряд ли придёт, — сказала тогда Текля. — Такому старику, как теперь он, убежать тяжело. А если бы и убежал, где будут искать? Там, откуда забрали. Они это знают, слышала. Человека, как и птицу, где бы ни был, к своему гнезду тянет. Душа чувствует, где её корень.

Иосиф не отвечал: с этим не поспоришь, его и самого в Гуду тянет. Там пуповина его, и больше ничего. Дома нет. Может быть, и сирени нет: выкорчевали. И лодку его, может быть, давно сожгли, за это время, конечно же, рассохлась.

Нет там ничего, что связывало бы Иосифа с деревней, а всё равно хочется пройти по некогда своей земле, лицо с реки умыть, там она, в лугах, — светлая, а здесь, в лесу, — тёмная. Особенно сейчас хочется пройти по Гуде, когда Теклюшка с ним. Но путь им туда заказан...

Почему-то долго медлил с крыльцом, за инструмент взялся только в пору первого бабьего лета, в осеннюю теплынь...

Чудесная пора стояла над землёй. Лес был охвачен колышущимся красно-жёлтым пламенем. Всё таинственно светилось. Не переставая, среди жёлтых берёз на гряде у родника трепетала красная листва осин и клёнов. Красными гроздьями были усыпаны кусты калины там, где гряда спускалась к болоту. Жёлтым пламенем были охвачены две берёзы, стоявшие напротив крыльца недалеко от дома.

Чисто и светло было вокруг. А иногда, когда из-за гряды леса между хутором и болотом выбегал шаловливый ветерок, путаясь в высокой жёлтой траве, в воздухе плыла прозрачная паутина. Конечно же, Иосиф знал, что его бывшие односельчане давно уже сметали на сухом стога второго укоса в Демковских болотах, где обычно косили. И рожь давным-давно сжата, обмолочена, засыпана в закрома. И картошка выбрана, теперь можно и немного отдохнуть. А выпадет снег — направятся в лес по дровам...

Интересно, как сейчас они там, в Гуде? Отстроилась ли деревня? Возродилась ли? Кто вернулся, а кто — нет? Что с Надиным Игнатием, с сыновьями Ефима? А с Ефимом что, как он там? Держат ли ещё руки топор, рубанок, фуганок? Должно быть, держат, сила у Ефима ещё должна быть. Отдыхать ему, пожалуй, некогда, люди повсюду строятся, и его умение ставить дома в этом деле не лишнее.

А что на месте его, Иосифа, дома? Сгорел же, а когда из деревни уходила вода, конечно же, унесла пепел, головешки, вот только, наверное, остался фундамент, он из камня, да два-три венца, которые в воде были.

Иосиф в мыслях часто навещал Гуду. Но не мог вообразить, какая она сейчас. Прежде всего, представлялась или довоенная, хоть и небольшая, одной улицей, но людная, наполненная детскими голосами, скрипом колодезных журавлей, мычанием коров, ржанием лошадей, криком петухов, стуком топоров...

Вспоминал и ту, которую увидел после того, как её сожгли немцы. Ужасался, закрывал руками лицо, будто в него бросался огонь, еле сдерживался, чтобы не закричать, особенно когда рядом была Теклюшка.

Как было в войну в Гуде и в окрестных деревнях, подробно рассказывать ей не хотел. Она такого ужаса не видела. Зачем теперь ей знать об этом? Потом, потом, будет ещё время. Только сказал: “Не дай Бог слышать и видеть”.

Он знал, что она по-своему представляла войну, так как не видела её: рассказы людей — это рассказы, а свои глаза — это свои. Думал, что высылка высылкой, а от ада, который пережили его и её земляки, а может быть, и от гибели она и спасла его Теклюшку. Говоря о войне, в подробности не вдавался, дескать, всем было нелегко.

Уже потом, когда начал ладить крыльцо, а Текля принялась помогать ему, говорил:

— И моя Гуда, и твоя деревня, пожалуй, уже давно отстроились. И мы с тобой могли бы там что-нибудь делать. И в своём доме, и людям помогали бы, если бы жизнь наша пошла, как надо. А так...

Текля не отвечала, понимала, что он очень скучает по деревне, по земле, да и по своей плотницкой работе, переживает, что не с людьми. Но что поделаешь, если у них сейчас нет иного выхода, как быть здесь?

И она грустила по деревне, по земле, по крестьянской работе. Женщине-крестьянке без неё очень тяжело, а такой осенней порой — особенно: год, должно быть, урожайный, ведь весна и лето были тёплые, с хорошими, в меру, дождями.

— Смотри, как светятся берёзы, — говорила она ему, желая хоть как-то развеять его мысли о деревне, о своём доме, которого у них нет.

Иосиф откладывал топор или пилу, смотрел вокруг на всю эту осеннюю красоту, останавливая взор на двух берёзках, которые были недалеко от крыльца, и думал, что природа, если хорошо к ней присмотреться, всегда подаёт человеку какие-то свои знаки, только надо уметь их разгадать. Как эти две высокие, обсыпанные осенним золотом берёзы, стоящие рядом. Они словно люди, встретившиеся однажды и не расставшиеся, несмотря ни на какие дожди, снега, морозы, бури и суховеи. Их можно разлучить, только уничтожив одну или сразу две, а так будут стоять столько, сколько отпущено им природой.

Может быть, и у деревьев, как и у людей, есть он и она. Кто знает... Откуда они здесь? Самосейки? Хотя, может быть, и нет: когда-то эти берёзы мог посадить Антон как знак того, что он здесь вдвоём с женой.

А могло быть и так: придя сюда вместе с любимой, раскорчёвывавая место под усадьбу, среди бурелома заметил Антон два слабеньких побега. Озарил его душу их красота, восхитило желание жить, и он осторожно, огрубевшими от работы руками погладил их, окликнул жену, показал ей: “Смотри...” А потом она молвила, а может, и вместе они молвили: “Растите...”

Кто знает, как было, но выросли две берёзки. Наверное, они и Иосифу с Теклюшкой какой-то знак подают.

Много было знаков в его жизни. Перед тем как встретиться с Теклей, был сон-знак. Видел Иосиф Архипа на большой воде, вода его и забрала. Не умея плавать, бросился он в реку спасать девочек, лодку с которыми перевернули парни-шутники, и... В том же сне птицу видел, над водой летела. Вместо крыльев — руки у птицы были, и прилетела к нему Теклюшка... И два креста на двух окнах чужого дома — знак. Кресты над их судьбами, которые наяву сорвал Иосиф. Вот только странно, кресты те не иначе, как хозяин хутора приколачивал, а он никакого отношения к Иосифу и Теклюшке не имел. Хотя... как на это посмотреть. Можно и так, мол, и у Антона с женой кресты судьбы тяжкие, и у него с Теклей. И эти две берёзы не иначе, как некие знаки...

Крыльцо Текле нравилось. Впрочем, как и всё на хуторе и вокруг него. Небольшое, в три ступеньки, но широкое и длинное — большая семья разместится, чтобы посидеть на нём после дневных забот. Сидели тёплыми вечерами на нём и Иосиф с Теклюшкой. Чаще всего — придя из леса с ягодами или грибами. Садись на крыльцо, поставив возле себя корзинки, перебирали чернику или голубику, бруснику, грибы.

— Как дома, — говорила она. — Я дома, когда ещё девчонкой была, приду из леса, принесу что, на крыльце и перебираю.

— Вот как, — улыбался он. — И я тоже на крыльце перебирал.

— А сейчас мы вместе перебираем, — улыбалась она.

Печь обычно протапливали ночью, чтобы с реки не было видно дыма, если вдруг кто будет плыть по ней. Ночью варили грибы, затем складывали в кадушку: Иосиф давно их сделал, да и корзинки он сплёл.

С крыльца всегда была видна одна и та же картина: гряда смешанного, векового, нетронутого человеком леса и две берёзы напротив дома. Лес менялся только цветом в зависимости от поры года: зелёный, жёлто-зелёный, красно-жёлтый, белый, но всегда светлый ясным днём. А когда пасмурно, дождливо — серый, пожухлый...

Текля постепенно сживалась с хутором. Иосиф понимал, что ей как женщине, как хозяйке без своего дома никак нельзя. Понимал, как ей хочется иметь своё жильё. Иногда, когда сидели вдвоём на крыльце, говорила:

— Вот, Осипка, считай, жизнь прожила, а всё без своего угла. И дом большой был у Авдея, а мне — не свой. И в Сибири дом был, через год он его поставил, а тоже постылый мне. А вот здесь, в чужой хате, с первых

дней ощущаю себя как в своей, потому что сейчас я с тобой. И как же мне хорошо, когда вдруг обнимешь!.. Кажется, большего счастья и не надо. Тогда я ничего и никого не боюсь, все мои страхи исчезают.

Иосиф, слыша о страхах, говорил ей, что сюда никому постороннему не добраться. Да и никто, кроме него, Ефима и, конечно же, прежде всего, хозяина хутора Антона, пути сюда не знает. Конечно, когда-то знали те, кто выселял Антона и его семью. Наверное, прежде чем добраться сюда, проследили, как он ходит через болото, только кто знает, где сейчас те люди. Ко всему он, Иосиф, Антоновы плахи перебросил в топи на новое место, припрятал так, что смогут догадаться только Антон и Ефим. Они сообразительные, жизнь их многому научила, как ни маскируй, а, подойдя к болоту, присмотревшись, определяют, что здесь кто-то ходит, поймут, где начинаются плахи. А для посторонних — места эти гиблые.

Текля, слушая его, успокаивалась, а может быть, и не подавала виду, что всё равно боится, не хотела, чтобы он волновался. Иосиф сам иногда был не уверен: как ни опасайся, а всякое может случиться. Поэтому, когда ходил проверять в заводи верши, никогда долго не задерживался. И ступал он по земле осторожно, внимательно прислушиваясь, не слышно ли постороннего звука, да присматриваясь, нет ли где человеческого следа. А ягоды, грибы, орехи они всегда собирали вместе.

Как-то Текля спросила, приходит ли к усадьбе зверь: глухомань, пожалуй, и волки здесь есть. Ответил, что в лесу зверь есть: кабаны, волки, косули, но сюда им хода нет, потому что время от времени он вокруг хутора сыплет порох, зверь слышит запах и уходит. Откуда порох? Этого добра возле шоссе хватает. Там когда-то шли тяжёлые бои, там ещё можно наковырять патронов. А вообще-то, порохом он давно запасся, как говорят, пусть не надо будет.

А вот оружия у него нет. Оружие там также можно найти, только зачем оно ему? Человек с оружием — уже другой человек.

Случалось, иногда в стороне от хутора, над рекой пролетал самолёт. Из-за гряды леса его не было видно, но слышался шум мотора. Тогда они прятались в дом, в кошару, в кусты или под деревья — смотря где в это время были.

Иосиф понимал, рано или поздно власти станет известно, что на хуторе кто-то живёт, лесники доберутся сюда или ещё кто. И тогда ему с Теклюшкой придётся худо.

За себя он не боялся: что они ему сделают? Будут пытаться, допрашивать: “Кто такой?” Пусть. Он любые пытки выдержит. Только её не трогали бы. Понимал, что тогда Теклю ему не защитит: арестуют, поведут. Да она и сама не будет сопротивляться, смиренно пойдёт, и винтовку наставляя на неё не надо будет.

Иосиф часто думал о том, что надо было бы поискать ещё более недоступное, чем Кошара, место. Но сейчас вряд ли такое найдёшь: люди строятся, леса надо много и городу, и деревне, вот и углубляются лесорубы всё дальше и дальше в чащи. Так что вскоре могут добраться и сюда.

Чем дальше жили здесь, тем чаще задумывался о том, что будет с Теклей, когда его не станет. Умрёт он тут — ещё ничего. Погорюет она, поплачет, может быть, сможет кое-как его похоронить. Хорошо бы под берёзами, а если и у крыльца (она его к ним вряд ли сможет дотянуть), тоже неплохо было бы. Главное, земле предать, а то раньше он думал, мол, почувствую, что уходит время, в домовину лягу и... А потом, похоронив, она непременно должна пойти в Гуду, ей одной здесь не выжить. Берегом пойдёт — река в деревню приведёт, не заплутает.

А если он упадёт где-нибудь в лесу или на реке?..

Тогда Теклюшка, не дождавшись его, бросится искать. Начнёт звать, выдаст себя рыбакам или кому другому, кто будет проплывать по реке. Конечно, люди бросятся к ней: “Что случилось?” А потом, когда узнают, сообщат в милицию: пропал человек. А милиция к ней: “Кто?..”

Случалась, будто между прочим, Иосиф говорил ей, что было бы неплохо иметь собаку. Втайне рассчитывал, что тогда Текле будет смелей без него, Иосифа, и какое-то время побыть здесь, и идти в Гуду.

— Нет, нет, нет, — испуганно говорила она. — Зачем? Ты без собаки столько лет жил, и ничего. Зачем брать грех на душу? Собака быстро привыкает к хозяину, а тот, не дай Бог умрёт, так пёс ждёт человека, пока не околеет. Как же он тоскует! Нет, нет, нет...

Конечно, собаку он мог бы взять давно. Даже подумывал об этом, плавая в город к Архипу. Тот нашёл бы ему щенка. С собакой было бы смелее. Только и другое могло быть: лай на заброшенном хуторе мог бы подсказать людям, время от времени плавающим по реке, что где-то за болотом кто-то живёт, значит, не такое оно и гиблое. А во-вторых, и такая мысль появлялась тогда у него: “Если что, так как же он без меня?”

Теперь, когда он остался один на земле, когда односельчане, наверное, даже имя его давно забыли, Иосиф подумал: пусть бы была у него собака, пусть бы лаяла, одному без Текли невозможно жить. Тяжело возвращаться на хутор, зная, что там никто тебя не ждёт. Как сегодня...

Сегодня он еле добрался сюда от шоссе. Изнемог. Вот лежит на земле, исстрадавшись и душой, и телом, и как ни пытается подняться, а не может. Будто прикованный... Хотя нет, не прикованный, а словно придавленный тяжестью всех тех тропинок и дорог, которые прошёл за свою долгую и такую горестную жизнь... И какая же угнетающая эта тяжесть, если вся сразу на душу и тело... И — люди на тех тропинках и дорогах, знакомые и незнакомые, свои и чужие, перед которыми в чём-то виноват и перед которыми нет его вины...

Казалась бы, с такой тяжестью и с такой болью в душе вообще невозможно жить, а он всё же как-то жил и живёт. И даже свыкся со всем свалившимся на него с того самого раннего детства, как осознал себя, что он есть. С того времени невзгоды и беды окружают его, правда, случаются, нет, случались у него и светлые времена, хотя и короткие.

Сначала — раннее сиротство. Жуткое время, когда осознаёшь, что у всех детишек есть мама, а у тебя — нет. Как так? Почему? И хуже нет ничего на свете. И осознание этого и сейчас берedit душу: был не такой, как все мальчишки и девчонки. Маленьким мальчиком видел, как хорошо тем, у кого есть мама. Она приголубит, утешит, если кто-то обидит на улице, — так всегда было с соседским Сашкой, таким же маленьким, как и Осипка, — и сразу же высохнут слёзы, забудутся обиды, опять побежит по улице весёлый и радостный.

Мальчиком он много раз видел, как мама утешала Сашку, завидовал ему, представлял себя на его месте. Представлял, как ему тепло и хорошо, когда мама обнимает и целует его. И понимал: как ни представляй, а не быть тебе на месте Сашки, и, забывшись куда подальше от людских глаз, плакал в одиночестве, никак не понимая, почему у него нет мамки? У всех мальчиков и девчонок есть, а у него — нет...

Однажды папа привёз откуда-то на телеге (Иосиф и сейчас, вспоминая это, слышит сухой грохот колёс по подмёрзшей улице) чужую тётю с тремя детьми, ещё меньшими, чем он, — двумя мальчиками и девочкой. Осипка тогда, стоя на крыльце их старенькой покосившейся хатки, сжался от ужаса и, ещё не видя вблизи черт лица той женщины и её детей, будто окаменел. Ему хотелось броситься прочь, убежать подальше отсюда, а потом провалиться сквозь землю, исчезнуть, чтобы никто никогда и нигде не нашёл его, и в одиночестве тихо плакать: всегда, когда выплачешься, легче.

Но он не побежал, что-то сдержало его. А потом Осипке захотелось узнать, что будет дальше, ведь папка ещё раньше говорил, что поедет за мамкой. Говорил это и вчера утром, запрягая лошадь, собираясь куда-то ехать.

Так Осипке сказала и соседка бабка Авгинка, к ней его отвёл папа, велел слушаться её во всём. А ещё отец сказал, что у него, Осипки, будут братики и сестричка.

И тогда, когда Осипка это услышал, внутри у него от ужаса всё сжалось, он предчувствовал, что папа привезет не свою, а чужую мамку. И братики, и сестричка тоже будут чужие: его мамка лежит на кладбище за деревней, там, где бор — сам же папка показал ему серый бугорок, над которым стоит небольшой почерневший крест с белым полотенцем на нём.

Весной на Радунцу папка водил его туда — там было много бугорков с крестами и много людей...

Правду говорят, что в старости люди очень хорошо помнят то, что было с ними в детстве, при этом, между прочим, не всегда помня, что было совсем недавно. Так и Иосиф детство своё не то, чтобы помнил, а не забывал: сначала горькое-горькое, потом, когда у него появилась мама-мачеха, совсем иное...

...Иосиф помнит, как отец тогда на кладбище дал ему полотенце, поднял сынишку и сказал, чтобы он повесил его мамке на крест.

Тогда Осипка не плакал, но никак не мог понять, почему его мамка здесь. И совсем не понимал, почему она одновременно и под бугорком, и на небе. Думал, что под бугорком ей тяжело, и она не видит его, а вот с неба смотрит на своего сыночка, хочет уберечь от обид, но не может: очень далеко он...

Матери своей Иосиф не помнил, она умерла, когда он был совсем маленьким, но она очень нужна была ему, и вот мама, не своя, чужая, слезает с телеги и идёт к нему, Осипке. Тем временем отец поочередно снимает с телеги каких-то мальчиков и девочку, осторожно ставит их на землю, затем направляется к крыльцу, возле которого стоит испуганный Осипка, не зная, что ему делать...

Сейчас Иосифу казалась, что он помнит всё это, как ничто из пережитого за всю жизнь. Помнит над собой низкое, с тяжёлыми серыми тучами небо... Помнит щербатый частокол двора, крышу над крыльцом, соседские хатки... Тогда ему казалась, что небо всё ниже и ниже опускается на землю, чтобы накрыть его, такого маленького и незащищенного. А как только накроет, ему уже никуда не убежать... Но где же его мама? Она же — на небе. Она должна спасти его!.. Ему уже хотелось кричать, бежать куда глаза глядят, чтобы выскользнуть из-под этого тяжёлого полога, но через мгновение между ним и небом стала эта женщина. Постояла, улыбнулась. Светло-светло... Тёмный полог затрепетал, отодвинулся от земли, взлетел ввысь, растаял, а она опустилась на колени, обняла Осипку, сжавшегося в комочек, осторожно прижала к себе, стала целовать в щёчки, в головку, в худенькую шейку, в зажмуренные глазки и прошептала: "А мой ты сыночек... А мой ты Осипка. Не бойся, я мамка твоя. Я никогда-никогда тебя не обижу и никому не позволю тебя обижать".

Затем, уже крепче прижав к груди, поднялась с колен, держа его на руках, выпрямилась и спросила: "Как же ты был здесь без меня, мой маленький?"

В то же мгновение тяжёлое тёмное небо поднялось, отодвинулось за частокол, за соседские хаты, взлетело высоко-высоко, и он ощутил, что уже ничто не угрожает ему. В груди сразу же стало тепло, и он беззвучно заплакал от этого неизвестного ему доселе тепла, которого ждал столько, сколько себя помнил, прошептала: "Мама".

Отец, наблюдая за ними, подошёл, остановился рядом и, как сейчас помнится, облегчённо вздохнул.

Лицо мамы-мачехи Осипка рассмотрел потом, когда к ним подбежали совсем маленькие два мальчики и девчонка и, дёргая её за подол юбки, стали звать: "Мама... мама!"

Он вновь испугался, вновь сжался, ему показалось, что они отбирают у него маму, со страхом глянул ей в лицо, увидел добрые глаза, и ему опять стало хорошо. А мама, держа его на руках, опять опустилась на колени и, не отпуская его от себя, обняла и осторожно придвинула к нему своих детей, затем всех четверых — к себе, словно соединяла в одно целое.

— Ну, вот и ладно, — сказал тогда отец и смолк.

И удивительно, в то же мгновение Осипка ощутил, что мальчики и девчонка не чужие ему, и всё то болезненное и обидное, что всегда шло рядом с ним, западая в чувствительную детскую душу, мгновенно исчезло, словно его и не было. И Осипка поверил, что это его мама. Он даже не подумал о том, как она могла подняться из-под тяжёлого серого бугорка на кладбище или спуститься с неба, откуда наблюдала за ним, стараясь, как говорил папка, отводить от него все беды.

И эта мама-мачеха отводила от него беды и горести, пока не умерла, оставив сиротами и своих детей, и Осипку. Потом родственники мамы-мачехи забрали к себе, увезли куда-то его сводных братьев и сестру, и связь с ними утратилась. Отводила, как могла бы отвести родная: когда вырос, понял, что мачеха для него действительно была мамой... А кто еще, если не мама, способен голыми руками схватить змею, поднимающуюся из-под ножки ребенка, зная, что яд, предназначенный ему, достанется ей?.. Случилось такое на сенокосе, где маленький Осип был вместе с папой и мачехой-мамой, которая и спасла его от гибели.

Вспомнил всё это обессилевший Иосиф, лёжа возле крыльца чужого дома, который на долгие годы одиночества стал ему пристанищем, а потом на два, прожитые в нём вместе с Теклюшкой, — своим, и вдруг почувствовал какой-то внутренний толчок, ощутил, как тело постепенно наполняется силой. А через мгновение показалось, что из души уходит тот неземной, леденящий её холод, который, пока Иосиф лежал на земле, сковывал её. Уходит медленно, но уходит, а вместо него в душу вливается полузабытое человеческое тепло, такое нужное и такое недоступное Иосифу после того, как не стало Теклюшки, самого родного и самого близкого ему человека на земле.

Всё это пробуждало в нём ощущение того, что его жизнь по каким-то высшим, неподвластным ему законам не может вот так просто закончиться: лёг и умер. Она не может закончиться, не коснувшись жизней некогда близких ему людей. Он должен открыть им свою боль. Он должен поведать им о страданиях, пережитых им после того, как ушёл от них, о тех кратковременных радостях, осенивших его с появлением Теклюшки, а также сказать им, что нет у него на односельчан зла, да и никогда не было. А если что и было, то только обида, а зло и обида — разное.

Он должен всё это сказать им не для того, чтобы они его пожалели, а для того, чтобы никто из них не считал себя виноватым в том, что произошло между ними. Он чувствовал, что Ефим считает себя виноватым в его исчезновении, что женщины переживают из-за него, Иосифа (Катя признала, увидев на базаре, знает, что жив), что и дети, повзрослев, его не забыли...

Тепло человеческой доброты наполняло его душу, такое необходимое ему и полузабытое, и, казалось бы, утраченное им навсегда. Но случилось так, что вопреки всему позавчера в городе оно неожиданно вспыхнуло, когда встретил женщину, хозяйку дома, возле которого сел отдохнуть на лавочку — эта женщина чем-то напомнила ему его мачеху-мать.

Оказывается, это тепло не стирается из памяти ни временем, ни невзгодами. Его ничем не погасить, оно есть, где-то живёт, и если тебе хочется, чтобы возвратилось, однажды обязательно возвратится...

Позавчера, проследив за Катей с сыночком и за Надей с дочерью (они без преград покинули город, затем спокойно миновали мост, а значит, к вечеру добрались домой), убедившись, что им ничто не угрожает, Иосиф присел на лавочку у последнего дома на окраине райцентра, чтобы отдохнуть. Там к нему и вышла хозяйка дома, наверное, приняв его за бродягу, пригласила поужинать и даже переночевать.

Мачеха-мать и эта женщина были чем-то похожи. Хотя мало ли на свете женщин, в сердцах которых, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняется тёплое отношение к людям, женщин, излучающих тепло и доброту.

Вот и Катя такая же, с какой-то своей внутренней добротой, с каким-то своим светом.

Иосиф помнит, никогда не забудет, как зимой в первый послевоенный год Валик, сынишка Нади и Игнатия Соперских, бросал в него лёд с таким выражением на личике, словно расстреливал заклятого врага.

Тогда Иосифу не за себя было страшно, а за мальчика: если так, то каким же человеком он вырастет...

Помнит, как Катя, увидев Валика, готовящегося ко второму броску в Иосифа, перехватила детскую ручонку, а потом что-то долго говорила несмышлёнышу, заступаясь за него, Иосифа. А что заступалась за него, так Иосиф слышал...

Помнит, как какая-то особенная просветлённость тронула тогда его, старого, одинокого человека, от которого отвернулись люди. Помнит он Катину доброту, помнит.

А какое тепло тронуло его тогда на базаре, когда стоял с протянутой рукой на том месте, на котором Теклюшка просила подавание, когда Катя узнала его и закричала: “Дядя Иосиф! Это ты, ты!..”

Кажется, тогда он мог бы захлебнуться от радости: узнала, называет как своего, близкого ей человека, о котором не забыла и через столько лет после того, как видела в последний раз. Значить, думала о нём: “Где же он, живой ли...” И, наверное, жалела его: это же надо так окликнуть, не боясь обозваться, утвердительно, с уверенностью: “Ты, ты!..”

Как сейчас дорого ему это её душевное тепло! Помнит Катя его, помнит... Может быть, и сынишке скажет: “Это дедушка Иосиф, наш дедушка, из нашей деревни”.

Но сбежал Иосиф, приняв всем сердцем её теплоту, которая тогда, кажется, наполнила всю душу, не мог признаться: “Я, Катя, я”. Боялся за Катю и её сыночка. И эта боязнь словно вдохнула в него жизнь. Он почувствовал себя человеком, на которого ложится ответственность за неё и за мальчика, он понял, что может и должен их защитить, если им будет угрожать хоть какая-нибудь опасность. А это чувство, что и ты человек, возвышает, оно словно очищает от той жизненной грязи, в которой волею судьбы вывалил. А коли человек, значит, не очерствел, не озверел, отвергнутый людьми и долго живя в одиночестве. И та обида на односельчан, конечно же, на мужчин (Катя и Надя, и дети ни при чём), за то, что не нашлось ему места среди них ни в войну, ни после, ни тогда, когда взорвалась дамба, обида, так долго выжигавшая его душу, постепенно начала утихать: а почему же ты не стремишься их понять?.. Тебе горе, а им, может, горе вдвойне...

Прозвучало это сейчас спокойным Теклюшкиным голосом, и её голос стал его внутренним голосом. Её мысли стали его мыслями. Понимал, что сам, без неё, до такого осмысления не дошёл бы. Не дошёл бы, если бы не увидел Катю и Надю. И, несомненно, если бы не та женщина, которая вчера напомнила ему его мачеху-мать.

Текля, Теклюшка... Страдалица из страдалиц. Сколько и как только её не обижали люди!.. Но ведь ни на кого не озлобилась. Она всем прощала. И прощала ему, Иосифу, из-за которого и разрушилась и её, и его жизнь...

Иосиф опять попробовал встать, оттолкнуться от земли. Ощутил, как в руки впелись камешки, ощутил такую силу, какую не помнил в себе с юности, оттолкнулся, стал на ноги и, пошатываясь, не спеша, направился к крыльцу. И чем ближе было крыльцо, тем уверенней был его шаг, он уже не шатался. Подойдя к крыльцу, опустился на него и долго смотрел на лес, окружающий хутор.

Весной, когда сойдёт снег, когда всё вокруг зазеленеет, прогреется под ярким солнцем. Летом и осенью, пока не пойдут дожди, любили они с Теклей посидеть на новом крыльце, любили понаблюдать за окрестностью, послушать, как под лёгким ветром задумчиво шумят деревья. Любили послушать пение птиц. Любили, вспоминая молодые годы, когда к ним пришло это огромное чувство любви, поговорить о том, как могла сложиться их жизнь вместе, если бы не было ничего того ужасного, что случилось в их жизни...

А было бы тогда у них всё, как у людей. У них были бы дети, внуки и уже, может быть, даже правнуки... Тогда и умирать можно было бы спокойно.

И когда говорили об этом, представляя, как всё было бы, словно проживали ту несбывшуюся свою совместную жизнь, в которой любовь друг к другу открылась бы сполна, в которой, если бы и была горечь, то обыкновенная, как во всех семьях, где царит любовь и уважение. Но проживали её мгновенно, не успев насладиться жизнью. А так...

— Не печалься, Осишка, — тихо молвила она. — Зря говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. А мы вошли, пусть через много лет, но вошли. Любила я тебя и сейчас люблю. И хватит мне дней, прожитых рядом

с тобой, чтобы сказать себе: и я знаю, что такое счастье. Как ни скупа была и твоя, и моя судьба, а напоследок расщедрилась.

— Оно, может, и так, Теклюшка, — будто соглашался он. — Но знать бы, что там (показывал рукой в небо) мы будем вместе, а больше ничего не надо. Говоришь, знаешь, что такое счастье. И я знаю, ты мне его подарила. Вот только всё равно мало нам того, что было с нами здесь, и горько и больно, что утраченного уже не вернуть. А иной жизни у нас с тобой уже не будет. И есть ли жизнь там — неизвестно, ведь оттуда ещё никто не возвратился...

— Осипка, а ты благодари судьбу за то, что здесь между нами было. Ведь могло и не быть, могло случиться так, что разминулись бы наши судьбы. Вот что было бы страшно...

— Да... — уже соглашался он с ней.

Иосиф сидел на крыльце.словно через туман смотрел окрест. Справа и слева видел желтовато-серую, неровную сверху, широкую полосу осеннего леса, опоясывающего хутор, а впереди, прямо перед ним — две жёлтые берёзы и жёлтый бугорок, ещё не затянутый травой.

Как-то в первый год, когда пришёл сюда, немного освоившись, выйдя из сеней такою же порой, Иосиф увидел жёлто-зелёный лес, а на его фоне — две чуть наклонённые жёлтые-жёлтые берёзы, а под ними — пожухлую, высокую, в пояс, траву. Какая печальная картина...

От этой печали природы защемило сердце: природа увядает, потом обновляется. Человеку такое не дано.

Тогда вспомнилось, как не однажды, когда ещё жил в Гуде в своём доме, выходя на крыльцо, наталкиваясь взором на землянки односельчан, которые считали его заклятым врагом, и думал: “Может быть, сойти куда подальше, забраться в какую-нибудь глухомань, сделать там землянку и жить, сколько отпущено, никому не досаждая. А когда почувствую, что приближается мой последний час на земле, выйду из неё, лягу под деревьями лицом к небу и буду ждать...”

И эти берёзы тогда показались ему такими деревьями, под которыми он и умрёт, когда придёт срок.

Теперь почему-то подумалось, что мог бы и он в молодые годы, когда встретил Теклюшку, посадить вместе с ней на своей земле две берёзки. Или уже без неё мог бы посадить их. Неважно — где, в поле, в огороде, возле леса сейчас шумели бы две берёзы. Пусть бы хоть такая память о них была. А он посадил сирень. Посадил тогда, когда стал жить с Марией. Посадил два маленьких ростка сирени на своей усадьбе. Посадил вопреки ей и её родителям. О Теклюшке тогда думал.

Ростки сирени прижились. Через годы они превратились в два больших ствола, давших множество побегов. Каждую весну до войны много лет подряд цвёл огромный куст, благоухал. И это было до того, пока в войну не случилось самое страшное и непоправимое с его, Иосифа, односельчанами... Тогда и куст иссох.

А берёзы живут. Не его берёзы...

“Не печалься, Иосиф, и ни на кого не обижайся и не злись. Ни на себя, ни на Ефима, ни на Николая с Михеем, слышишь? И на Марию — тоже. Ни на кого. И на себя не злись. Слышишь?”

Текля села рядом с ним на крыльцо. Но не прильнула к плечу, как всегда делала раньше, когда садилась рядом, а чуть поодаль. Голова её была непокрытая. Волосы её — как в молодости, длинные, русые, а не седые, как тогда, когда встретил её на базаре, — легко трепал ветерок.

Он сидел и не поворачивался к ней. Он и так ощущал её, свою Теклюшку. Он видел её светлое молодое лицо не глазами, а каким-то иным зрением — душой, что ли... И нежность к ней, такой любимой и родной, кажется, даже не известная ему в молодые годы, наполнила всё его существо.

Иосиф боялся пошевелиться. Ему казалось, тогда из души исчезнет это ощущение, исчезнет тот волшебный свет, через который вырисовывалось Теклюшкино лицо, а за ним — лица Кати, её сыночка Петьки, Нади и Светки, Валика, Ефима, Михея, Николая, Архипа...

“Ну, что же ты, Осипка? Не бойся, — вдруг молвила Текля. — Иди, иди к ним. Не обижайся на людей. Им, как и тебе, тяжело. Им, как и тебе, больно. Слышишь меня? Иди”.

Он повернулся, хотел ближе подсесть к ней, спросить, как же она здесь будет одна, если он уйдёт? Но не успел, Текля легко поднялась, отошла от него. Иосиф хотел взять её за руку, но её уже не было...

Он ещё не успел осознать, была ли она здесь наяву или ему показалось, как вновь услышал уже откуда-то издалека: “Иди, не обижайся на них. И не бойся. А я уж как-нибудь здесь буду”.

Свет в его душе мгновенно померк, сердце пронзила острая щемящая боль...

10

А тем временем всё дальше и дальше от Гуды отплывала лодка с Валиком и Ефимом. Им ещё долго надо было плыть по реке, чтобы причалить к её левому берегу, на котором находился хутор Кошара. Точнее, находился он далековато от реки — за болотом, которое считалось непроходимым, за грядой леса, отделяющего топь от усадьбы, опустевшей много лет тому назад и заросшей травой и бурьяном...

Через трое суток Ефим и Валик приплыли к Кошаре. Впрочем, перед тем как отправиться в дорогу, парень так и рассчитывал. То, что Ефим говорил, будто туда можно доплыть за день, были слова, не более. Может, раньше, в его молодые годы, как он говорил, когда река бежала быстрее, чем сейчас, справились бы за сутки, но не сейчас.

Обмелела за последние годы Дубосна, бежала не так быстро, как когда-то, а местами, казалось, совсем остановилась.

Ефим удивлялся: как же так?

Валик слушал старика, пожимал плечами. Так далеко по реке он выбрался впервые. И удивлялся он другому: какая же она красивая, особенно в лесах, на не заболоченном пространстве, а в высоких берегах, поросших величавой сосной.

Удивлялся, что на всём пути им не попадались деревни, хотя иногда чувствовалось, что где-то не так и далеко от Дубосны они есть: местами через лес к реке спускались дороги, тропы, на берегах были видны шалаши, старые и ещё с непожухлой листвой, недавно поставленные. Конечно же, сюда приходят рыбаки, но сейчас их не видно. Это было понятно: уже стоит почти осенняя пора, у людей иные заботы — поля, урожай.

Миновали и Дубосну, деревню с таким же названием, как река. Деревня была с левого берега за лесом, недалеко от реки: на воде покачивалось с десяток челнов и лодок, привязанных к вбитым в землю кольям.

Когда подплывали к этому месту, Валик заметил, что старику не сидится. Он приподнимался с сидения, молча поглядывал то на реку, то на берег, то на Валика. И только когда миновали песчаный берег, сказал:

— Дубосна. Церковь там. Как-нибудь свозишь меня. Можно, конечно, на попутной машине по дороге подъехать, ближе и намного быстрее, но не хочу дорогой.

— Почему? — спросил Валик.

— Не люблю её. Та дорога когда-то нас с Иосифом развела в разные стороны. Ещё когда мы молодыми были. Ты уже взрослый, поэтому скажу тебе, чтобы знал, чтобы не повторил в своей жизни ошибку моей молодости. То, что я тогда сделал, и сегодня не даёт мне покоя. Вот послушай.

У Иосифа девушка была. Из Демков. Текля. Любились они. И однажды её обесчестил один плохой, богатый, наглый парень. Бабы это видели, долго сплетничали, мол, Текля до того догулялась, что среди бела дня с Авдеем (так звали того парня) голая в снопах качается.

Иосиф места себе не находил. Как так?.. Отвернулся от неё, а я, дурак, на всё со стороны смотрю, будто меня не касается, будто никто он мне.

Текля красавица была, работающая. Так вот, обесчестил её Авдей, а через какое-то время разузнал Иосиф, что тот повезёт Теклю в Дубосну венчаться. Пришёл Иосиф ко мне, мол, пойду на дорогу, перегорожу. Смотрит на меня, а я молчу. И пошёл. А я не пошёл с ним. И девку Иосиф не вернул, и Авдеевы дружки едва его не убили. Мне надо было тогда с ним пойти, Валик, надо было, а я...

— Он же не звал.

— А на такое дело не зовут, если друг, сам должен пойти.

— Наверное, друзьями не были.

— Были, Валик, были.

— Тогда я не знаю, дед, ничего не понимаю.

— Здесь понимание одно: жизнь у него и у неё сломана. А пошёл бы я с ним — вдвоём отбили бы Теклю.

— Потому и в церковь тебе надо? Ты же, дед, кажется, не очень веришь.

— Нет. Церкви это не касается. Просто хочу зайти, постоять, посмотреть, как люди верят. Старый уже. Много грязи за жизнь на душе накопилось, церковь грязь не смоешь, если сам не смоешь. И люди не смоят.

— Какие люди, деда? Тебя уважают. Чуть что: Ефим Михайлович сказал, Ефим Михайлович знает, Ефим Михайлович посоветовал...

— Ну, это те, кто знает, какой я сейчас. Но и другие люди есть. Тот же Иосиф, Текля, если жива... Сослали её с мужиком не известно куда, раскулачили его.

— С тем, что обесчестил?

— С ним. А куда же ей было деться, как не с ним? В то время, если кто выжжет на девке клеймо блудницы, так до гроба. А девку можно и обманом обесчестить. Позже я узнал, что Авдей опоил Теклюшку какой-то гадостью и обесчестил.

Смолк старик. Молчал и Валик. Долго молчали. Не представлял парень, что столько лет деда Ефима может так тревожить то, что когда-то было в его молодости: не поддержал друга в беде. Хотя тяжело представить, что за такая большая беда: ну, вышла девка за другого, если бы не хотела, так не ехала бы с ним венчаться. И зачем было Иосифу идти на дорогу, вмешиваться в судьбу уже чужой ему девушки? Но если послушать деда Ефима, получается, что не так всё просто: Иосиф и Текля любили друг друга, но случилось ужасное: не разобрались, расстались. А он, Ефим, оказывается, мог бы помочь им, но не захотел. Почему?.. Вот в чём вопрос.

На следующий день (ночевали на берегу у костра), собираясь плыть дальше, Валик спросил старика, почему он тогда не пошёл с Иосифом.

— И я, как и все, сплетням поверил, — сказал Ефим. — Не хотел, чтобы Иосиф с ней был, раз она такая. А правда в том, что смалодушничал я, мне это позже открылось, и уже ничего нельзя было изменить.

К Кошаре подплывали в полдень. Что до хутора недалеко, Валик понял по тому, как Ефим начал внимательно всматриваться в левый берег, поросший деревьями. Смотрел, будто боялся не узнать место, где надо пристать: а вдруг они его уже миновали.

— Валик, табань! — крикнул старик, да так громко, что тот от неожиданности вздрогнул. — Говорю, гребите назад. Проскочили протоку. Видишь? Поворачивай, давай кормой в траву. И осторожно, следа в траве от лодки не видно, сильно не мни траву. Не надо, чтобы кто-нибудь посторонний знал об этом месте.

А через какое-то время, спрятав в заводи в тростнике лодку, даже не взяв с собой рюкзаки с едой и тёплой верхней одеждой, Ефим и Валик по припрятанным в топи плахам шли через болото к хутору.

Плахи Ефим отыскал быстро, нащупав длинной палкой твёрдое в топи, затем на шаг сбоку — вторую, третью. Так плахи могли положить только три человека: хозяин хутора Антон, он, Ефим, который когда-то работал у него и знал секрет пути, и Иосиф. Иосифу о том, как пройти через болото, рассказал Ефим, вернувшись с хутора, когда ходил сюда, чтобы забрать к себе детишек. А надо ли было? Ведь детишек от родителей оторвал бы.

А тогда думал, что надо. О том, что дорогу сюда знают дети и внуки Анто-на, Ефим не думал.

II

Они долго стояли на пригорке, за которым лежала усадьба. Стояли там, где когда-то начиналась тропка через поле к дому. По той тропке, когда был молодым, ходил и Ефим. Но теперь она была еле заметна, заросла травой. Справа, шагах в пяти от тропки, струился родничок. Из него вытекал ручеек, бежал вниз к речке.

Родничок был обложен камнями, этакой подковой, что удивило Ефима: при Антоне здесь был сруб в два веночка, а под ним — желобок. Помнил, что уже в тридцать седьмом, когда приходил сюда за детишками, сруб вокруг родничка был подгнивший, рядом лежали свежие плахи. Наверное, Ан-тон собирался его заменить, но не успел. Знал, что Антон любил всё делать из дерева, говорил: “Дерево дышит”.

Ефим посмотрел вокруг — плашек не было, не иначе весною по склону снесла талая вода. Конечно, камни не Антоновы, и обложен родничок после того, как Ефим приходил сюда, может, Иосиф обложил.

Помнил, что Иосиф, когда ставили дома, советовал хозяевам делать ка-менные фундаменты вместо деревянных, как тогда было принято в Гуде и окружающих деревнях, говорил, что камень вечный. Говорил, что так де-лают в городе, где как-то был на заработках.

— Иосифа работа, — кивнул Ефим на родничок, — вишь, обложил, на-верное, век доживать здесь собрался. У Антона в сарае дерева хватало, он хозяйственный был, все у него было приготовлено заранее.

Валик не ответил. Всё болото — жутко. И разве здесь кто живёт? Всё заросло травой, нигде не видно даже лоскутка обработанной земли. Вон длинный дом, крыша седловиной, просела, того и гляди — обвалится. Про-гнившимися были крыши и ещё двух строений, чернеющих вдали от дома, ближе к лесу.

— Деда, — наконец, сказал Валик. — Нежилое. И никого здесь нет.

Ефим долго молча смотрел на хутор. Он хорошо помнил его. Помнил ко-шару, сарай — когда-то он помогал Антону их ставить. Помнил дом, кото-рый тот построил ещё до него, кажется, говорил, что помогали родственни-ки. Помнил просторные сени. Помнил широкое крыльцо. Впрочем, помнил здесь всё до мелочей и теперь узнавал и не узнавал. Да, нежилое. Вот толь-ко, кажется, к сеним приделано новое крыльцо, дерево, столбики ещё жёл-тые, и площадка, доски — тоже. И на окнах нет досок. А были заколочены, когда Ефим в последний раз навещал хутор. Значит, здесь кто-то жил или живёт. Если жил, то не так давно.

Ефим перевёл взгляд вправо от крыльца, увидел недалеко от него две большие берёзы. Их он тоже помнил. Помнил ещё совсем маленькими, по-мнил уже и деревьями. Дорожил ими Антон, помнил Ефим, как он когда-то сказал хозяину, мол, можно было бы выкорчевать, мешают косить, а тот от-ветил:

— Пусть растут. Жалко.

Теперь берёзы были большие, в деревне сказали бы — зрелые. Берёза вырастает за каких-то лет пятьдесят — самое дерево. Кроны их широкие, жёлтые косы опущены почти до земли, колышутся на ветру, кажется, что-то закрывают.

Взгляд скользнул вниз, под косы берёз. Под ними — узкий, длинный жёлтый бугорок, а над ним — свежий, дерево ещё жёлтое, крест с трепещу-щимся на нём белым полотенцем. Ветер колыхал ветви, открывая его, такой большой для могилы. Подумал, что такие большие кресты раньше обычно ставили у входа в деревни. Были особые мужики, которые умели их делать добротнo. И десятилетиями стояли они в начале деревень, как считалось, оберегая людей от нечисти. Женщины украшали их полотенцами — святость излучалась от таких крестов. В новые времена, принесшие повсеместную безбожность, отрицающие добро, сталкивающие брата с братом якобы во

имя какого-то светлого будущего, проливающие невинные людские слёзы и кровь, таких крестов уже не ставили. А старые эти обереги выворачивали, изничтожали — находились среди людей и такие, которые почитали кощунство за честь, впрочем, не зная смысла самого этого понятия, как и понятия совести, без чего существу, именуемому человеком, нечего делать среди людей...

Ефим и Иосиф слыли хорошими и плотниками, и столярами. Когда были помоложе и ещё дружили, домов окрест поставили немало, в том числе и в новых поселениях, а вот мастерить такие обереги не брались, мол, для этого мастера есть постарше... Правда, однажды они крест всё же сделали. Помнится, умерла одинокая старушка Прасковья. На отшибе жила в хатке-развалюхе. Убогая и не убогая, вроде странная и не странная, но всякого привечала — и странника, и местный люд. Детишек заговорённой водой лечила. Помогало, многие болезни как рукой снимало... Умерла, бабы к Ефиму с Иосифом: “Старики домовину ладят, помогите им с крестом. Крест ей большой надо, потому как страдала большая...”

Помогли, сделали такой же большой, как этот, — старикам не поднять...

Сказывал шофёр Кате и Наде, у Антона, который живёт на этом хуторе, и которого он время от времени подвозил в город и из города, хозяйка была. Конечно же, Иосиф Антоном представлялся, наверное, затерявшись в одиночестве, и среди людей хотел затеряться.

Сказывал, хозяйка его умерла. Умерла. Неужели?.. Так её же сослали. Вернулась? А если и вернулась, так как могли встретиться? Как всё понимать?..

Вздрыгнул Ефим, прочь хотелось гнать эту мысль: нет, не она. Сморщился от боли, сердце в груди словно кто-то сжал в кулак — не продохнуть, ноги подкосились, едва не упал, но удержался: нельзя, парня испугаю.

Кое-как успокоился, еле поднимая ноги, медленно направился к берёзам. Каждый шаг давался с трудом. Не дойдя несколько шагов до берёз, не сводя затуманенных глаз с бугорка, желтевшего под ними, остановился, прошептал: “Опоздал. И кто же тебя похоронил?.. И кто ты? Иосиф, Антон? Мне бы самому поговорить с тем шофёром, который тебя подвозил, я бы точно определил, кто. А то женщины как-то неопределённо: “Иосиф — не Иосиф...””

Валик стоял позади, слов старика не разобрал, но понял: тот что-то говорил сам себе. Знал, в последнее время у деда Ефима бывают такие мгновения, когда он сам с собой разговаривает. А тем временем старик начал медленно опускаться на землю, на колени. Валик подхватил его сзади под руки, поддержал, пока старик опустится, и, глядя, как тот дрожащей непослушной рукой стягивает с головы фуражку, впервые пожалел, что приехали сюда. Нельзя было этого делать, нельзя! У старика болит сердце, какие его годы... Вдруг с ним что случится, где и у кого тогда искать помощи?

— Деда, деда, — приседая возле него, позвал Валик. — Тебе плохо?

Ефим молчал. Валик опустил руку в карман брюк, нащупал там таблетки от сердца, которые ему перед дорогой сунула тётка Катя, достал, подал старику.

— Не надо, внучек, — проговорил тот, отклоняя руку Валика. — Лекарства душу не лечат. Само пройдёт. Не обращай внимания, бывает.

Ефим не торопясь поднялся, пошатываясь, сделал шаг к бугорку, остановился: песок свежий, жёлтый.

Он не знал, что сегодня утром песок на бугорок насыпал Иосиф, чтобы подновить могилку, осевшую за лето. Не знал Ефим, что эти три дня, пока он с Валиком плыл сюда, бывший его друг и односельчанин Иосиф Кучинский подолгу сидел возле могилы. В мыслях разговаривал с Теклей, чтобы подсказала, что делать дальше, ведь очень тяжело ему здесь жить одному. Хотя знал Иосиф, что ему надо делать, Текля много раз говорила: “Когда вдруг упаду, так в Гуду иди”. Но легко сказать — иди, а как оставить её здесь одну?..

Текля для Иосифа была будто живая. Он ощущал её рядом с собой, где бы ни был, что бы ни делал. Он в мыслях всегда разговаривал с ней, когда надо было — советовался. Он видел её облик, видел её глаза, лёгкую,

печальную улыбку. Он, кажется, жил под её властью, такой доброй и нежной, такой необходимой ему, что и не высказать.

Он знал, если она вдруг когда-то оставит его, тогда закончится его жизнь — тогда вообще не будет никакого смысла жить ему дальше на земле, и думал об этом с холодным спокойствием.

Да, Текля просила его, чтобы шёл в Гуду. Знала, что там его спасение. А ему надо было только сходить туда, посмотреть, что там и как, и вернуться к ней. Спасение ему уже было не нужно: свыше отпущенный срок доживёт здесь. После того, как она умерла, Иосиф подготовился к своему последнему часу на земле, о котором не однажды думал, оставив Гуду: где-нибудь подальше от людей лечь в то, во что кладут тех, кто ушёл из жизни, и ждать (в сарае “то” стоит).

Есть у него то, во что лечь, сделал новое. И место есть — рядом с ней, Теклей. Почувствует, что близок его последний час, притянет “то”. И ещё: могилу он успеет выкопать, сходит в деревню или не сходит. В Гуду ему надо только потому, чтобы опять увидеть Катю, её сыночка, Надю, её детей. Увидеть, что всё у них хорошо, что не надо за них опасаться, как опасался в городе.

И мужчин ему надо увидеть: Ефима, Михея, Николая и всех тех, кто вернулся. Не обязательно признаваться им, что это он, Иосиф Кучинский, пришёл. Ему просто пройтись бы по деревне, прикинувшись старцем, чтобы не узнали, посмотреть, как они... Ему бы деревню увидеть, какая она сейчас. Ему так хочется вдохнуть тот воздух, которым дышал всю жизнь, пока не очутился тут.

Но он боялся идти в деревню, хотя очень хотелось. Боялся, что может и дойти, а вот вернётся ли сюда, к своей Теклюшке, неизвестно. Пойти туда ему надо совсем по иной причине, чем она хотела. Текля считала, что только там его спасение, а оно ему было не нужно. Ему нужно иное — людей увидеть и запомнить такими, какие они есть сейчас, какими они были — помнит... А потом — назад, к ней. А спасение от самого себя, заплутавшегося в жизни, освежив душу, очистив её от всего наносного, налипшегося на неё за долгие-долгие годы, он найдёт, вернее, нашёл ещё тогда, когда с Теклюшкой встретился. Но понял это только сейчас, увидев свою жизнь. Как говорят, не издалека, а изнутри самого себя...

Иосифу хотелось и не ослушаться Теклю, и сделать по-своему. Так сказать, соединить в одно два желания: её и его. Только всё это очень и очень непросто.

Иосиф страдал, не зная, что делать, как соединить эти два желания, да и можно ли их соединить?..

В то время, когда Ефим и Валик были возле могилы, Иосиф, ещё ничего не решив, как и три дня подряд, собирал в сених мешочек, складывал в него то, что могло бы пригодиться в долгой дороге: спички, банку консервов из старых запасов, брусочек сала, сухари. А собрав, думал, как уже делал трижды, выйти из сеней, направиться к берёзкам, подойти к бугорку, остановиться, в который раз спросить у Теклюшки, что ему делать.

Знал, что и сегодня она не даст ответа: говорила же, слышал, что надо в Гуду идти...

Ладно, уйдёт он, но как она здесь будет одна?.. Уйдёт, и тем самым в очередной раз предаст её, самого дорогого ему человека, или самое дорогое, что было у него за всю длинную и такую горькую жизнь...

Иосиф, как было и раньше, собрав мешок, развязал его, высыпал содержимое на лежак, повернулся, взял в углу самодельный костыль, ткнул его под мышку и решительно направился к двери.

А Ефим по-прежнему стоял на коленях возле могильного бугорка под двумя берёзами. Берёзы шелестели жёлтыми листьями, ветер трепал белое полотенце на кресте, лёгкий туман, ещё минуту тому назад закрывавший глаза, рассеивался.

Валик внимательно следил за стариком, готовый, если потребуется, в любое мгновение подхватить его, поддержать. Он даже сделал шаг, чтобы быть ближе к нему, и вдруг застыл на месте: сзади закрипела дверь. И сразу

же оттуда слышались шаги, сначала звучные, по доскам, потом глухие, по земле.

Валик резко повернулся к дому и на мгновение словно окаменел: к ним, шаркая сапогами по земле, приближался старик. Сгорбленный, без шапки, с самодельным костылём под мышкой. Он спешил сюда. Казалось, ещё мгновение — старик подойдёт и набросится на них: “Что вам здесь надо? Кто вы такие?”

Старик, сделав несколько шагов, тяжело выпрямился, поднял голову, посмотрел на Валика и Ефима. Что-то полубыто-знакомое увидел парень в облике старика. И сразу же внутри всё сжалось, а потом вспыхнуло: он!.. Валик сдвинулся с места, сначала медленно подался ему навстречу, взглядываясь в лицо: редкая седая борода, редкие седые волосы, и глаза, кажется, знакомые глаза. А когда между парнем и стариком оставалось шага три-четыре, Валик рассмотрел их: выцветшие, но не пустые, грустные, истрадавшие, в них застыли боль и страх — такими они были зимой сорок пятого, когда он бросал лёд в лицо деду Иосифу Кучинскому.

Старик, взглядываясь в парня, в Ефима, который поворачивался, поднимаясь с колен, остановился, в его глазах появилось что-то похожее на слабый огонёк, прохрипел:

— Валик?.. Ефим?..

— Деда Иосиф! — парень бросился к старику, подбежав к нему, остановился растерянный, опустил глаза.

— Узнал ты меня, Валичек, узнал. Дай я тебя обниму.

Старик выронил костыль, сначала осторожно обнял парня, а потом решительно прижал к себе.

— Осип? — слышалось глухо от бугорка. — Ты? Боже, живой!

— Я, я, Ефим...

...На третий день на рассвете Валик отплывал из Кошары. В лодке он был один. Он хотел возвращаться в Гуду в челне, но старики сказали, что он им сподручней, что на челне они ещё могут хоть всю реку пройти от начала до конца. Конечно, в этом им нет надобности, но обязательно сплавляют на нём, куда надо.

Когда Валик заинтересовался, куда именно, Иосиф сказал, что прежде всего — на Стражу, благо дни стоят ещё тёплые. А потом сплавляют в город, у них там тоже есть дело, или ещё куда. Под словами “ещё куда” Валик понимал — в Гуду. Он надеялся, что это будет скоро: побудут день-два на Страже, расспросят у хозяйки о солдатах, ночевавших там, и поплывут в свою деревню, ведь не так уж и далеко она оттуда. А насовсем приплывут, или только перезимовать, будет видно...

Прежде чем проводить Валика к лодке, старики сказали ему, чтобы запомнил путь через болото.

Конечно, если бы у стариков была сила, надо было бы положить новые плашки, и не по две в ширину, а по четыре, а то и по пять, и не прятать их в топи, а поверху. Пусть бы люди шли, кому надо, вон охотники зимой постреливали... Может, ягодники прибьются или ещё кто. А если вдруг заявятся Антон с женой, его дети или внуки, так Ефим всё возьмёт на себя, скажет, почему они с Осипом здесь. А там будет видно. Может, хозяевам хутора нужна будет помощь, так пожалуйста: в Гуде пустует дом, который мужчины построили Ефиму.

Когда Валик собирался назад, Иосиф дал ему весомый мешочек с орехами, сказал, чтобы передал Кате, она всех угостит. Просил парня всем, кто ещё помнит Иосифа Кучинского, передать поклон. А потом сказал:

— Я, Валентин Игнатьевич, вот о чём тебя попрошу: если у нас растёт трава молодила, отыщи её мне. Мы с Теклошкой хотели её здесь найти, но не знали, растёт ли она у нас, да и как она выглядит, трава эта. Одно знаю, что целительная. Теклошка говорила, что мазь из этой травы, когда она из ссылки шла, где-то в России, кажется, ближе к нашим землям, ей одна старуха дала. У Теклошки ноги были в язвах, мазала, помогало. Хотя, может, и не растёт она у нас.

— Растёт, — сказал Валик, — по ботанике читал. У нас много чего растёт, а мы и не знаем, как называется. Отыщу. Да, лечебная она.

— Вот, вот, Теклюшке посажу. По весне как-нибудь заберу, под солнцем и посажу.

Прощались старики с Валиком по-мужски, без лишних эмоций. Пожали ему руку, мол, в добрый путь. А когда оттолкнули лодку от берега, не сговариваясь, перекрестили.

И он прощался с ними так, как прощаются ненадолго. Даже не обнял, сдержался, только пожал руки, сказал: “Ну, держитесь”, — и больше ничего.

Валик верил и не верил, что старики вскоре появятся в Гуде. Думал об ином: когда он пришлывёт в деревню и расскажет обо всём, что здесь произошло, Савелий сразу же направится в Кошару. Он это так не оставит, настолько, данной ему властью заставит стариков вернуться в деревню. Удумали: остаёмся!..

Конечно, без Валика ему сюда не добраться. И, выплывая из заводи, не обращая внимания на то, что за лодкой в траве остаётся след, Валик старался запомнить этот поворот реки, её левый и правый берег. С левого берега, по течению, метров за двести перед заводью к самой воде свисают старые ветви ив. Этакая плотная гряда. Местами через неё в реку упали деревья, толстые и очень старые. Лежат давно, может, десятилетия, стволы постепенно исчезают под водой, над которой возвышаются толстые почерневшие ветви. Наверное, деревья подрезали бобры, иначе нельзя представить, как они, такие сильные, упали.

Гряда ивняка заканчивается около полосы травы, уходящей влево к лесу на возвышенность, за которой, как Валик уже знает, начинается болото. Правый берег высокий, обрывистый, весной вода его сильно подмывает, в реке тоже лежат поваленные деревья.

Валик выплыл на середину Дубосны, взялся за весла; знал, что ивняк вскоре закончится, и дальше река пойдёт прямее, поворотов мало, и он направит лодку ближе к берегу — так плыть легче и быстрее.

Так и было. Плыл он быстро, хотя и против течения. Около берега оно почти не ощущалось, где работал веслом, а где шестом — дело для него привычное. Он рассчитывал, что дня через два приплывёт к тому месту, где от берега проложена тропа к Страже. Ефим об этом говорил и просил, чтобы Валик сходил на хутор, переночевал у старухи, сказал ей, что вскоре сюда должны навестись двое стариков: дело у них к хозяйке есть.

Если бы Иосиф не сказал ему о том, что старики собираются навестить Стражу, Валик один домой не уплыл бы. А так рассчитывал, что оттуда обязательно поплывут в Гуду. Понимал, что Стража — единственное место на земле, где, как думает, он может обнаружить следы своих сыновей.

Валик плыл и впоминал разговоры стариков. Были они, на первый взгляд, логически будто и не связаны между собой, но только на первый взгляд. В этих разговорах был какой-то свой глубокий смысл, и был он словно припрятан. От кого? От себя? От него, Валика?

От себя — едва ли. От него? Тогда с какой целью? Старики таким образом пытались уберечь его от всего обидного и жестокого, что было между ними?.. Как сказать...

Фрагментарно звучало так...

— Знаешь, Ефим, что я понял, считай, прожив всю жизнь возле людей, а может, и с ними, а сейчас вот уже сколько лет один?

— Откуда мне знать? Говори, Осип. Только позволь, всё же я тебе о своём прежде сказать должен, ибо виноват перед тобой. Из-за меня мы чужими стали, а когда-то как братья были... Кто знал, что жизнь такая извилистая?.. По-глупому разошлись мы с тобой. Я, я во всём виноват. И пошло: у меня — своя дорога, у тебя — своя. И мне было больно и обидно без тебя, пожалуй, и тебе без меня. Помнил я всю жизнь, как ты, когда я, чужой, сирота, бродяга в Гуду пришёл, ты первый из парней руку мне подал. А после я, когда тебе моя рука нужна была, от тебя отвернулся. И помню: не пошёл с тобой Теклюшку защищать. Наверное, больно тебе было, не смог ты её один у Авдея отбить, вдвоём отбили бы.

— Было больно, Ефим, было. А как же? И обидно было. И я сирота. И я один. Так вот, что я, прежде всего, понял: нельзя человеку быть одному на земле, каким бы он ни был — грешником или праведником, бедным или богатым. Земля ведь, когда туда люди уходят, всех как бы выравняет, все для неё одинаковы. Это здесь мы ссоримся, враждуем, ненавидим друг друга и даже уничтожаем... А там... Но вот что над всем этим стоит: какая память о тебе останется? Ну, ещё ладно, если от кого росток остаётся, а если, как у меня, — нет его, тогда что?.. Казалось бы, какое мне до этого дело? Ведь нет меня и никогда не будет. Но ведь болит душа, болит: добром ли вспомнят люди или словом худым, а может, просто забудут... А забудут — как и не жил, не было тебя на земле... Какая-то тайна нашего бытия в этом скрыта, коль не даёт покоя...

— И мне знакомо это. И мне нет покоя. Иной раз кажется, что та память, о которой ты говоришь, как продолжение жизни.

— Это ты точно говоришь... Нам бы с тобой, Ефим, по одной тропе до конца идти, а мы по разным пошли. Хотя, сколько живём с той поры, столько наши тропы рядом выются. А когда пересекались, к добру не приводили. Тяжело, очень тяжело было ощущать это. А вот опять сошлись. Не знаю, как ты, а я, как только тебя увидел, подумал, что наконец-то всё между нами изменится.

— С тем и приплыл, Осип.

— Как хорошо, что с Валиком приплыл. Вырос парень. Мужчина. Узнал меня. Обнял. Так сын никогда не обнимал, когда ещё человеком был. Хотя, может, он им и не был никогда. А почему? Не смог я человеком его воспитать.

Валик, когда они разговаривали у крыльца, присел на колоду, смотрел вдаль, хотел понять, как мог здесь так долго жить дед Иосиф сначала один, потом с женщиной, которую любил, и не представлял этого. Думал, наверное, только страшная обида на односельчан держала старика здесь: не мозолу вам глаза.

— Оно так и не так, — говорил Ефим. — Никто не знает, каким рождается человек. Как говорят, и яблоня может быть хорошая, а яблоко...

— Никому не говорил, а тебе скажу: не с моей он яблони, не моего корня. Но за это я Марию ни разу не упрекнул. Когда с плодом взял её, так спрос с меня за то, каким плод тот созрел. Так что, отвечай, Осип!.. Вот и отвечай и перед людьми, и перед самим собой.

— Нда. Сложно всё это. Очень.

— Я тебе больше скажу. Валик не слышит? Не надо ему это. (Валик хотел подняться, уйти, но что-то будто привязало его к колоде.) Нет, не слышит. Тогда, когда деревню сожгли, когда людей уничтожили, я сына своего хотел застрелить. Палач он, с врагом был. Винтовку на него наставил и — не смог. И здесь моя вина перед людьми. Он же после этого ещё столько зла сделал.

Иосиф надолго умолк. Молчал и Ефим. Валик сидел ошеломлённый, не знал, что делать. Он хорошо помнил полицая Стаса, сына деда Иосифа. Помнил, что Стас не однажды наставлял на мальшей винтовку, пугал. Помнил, как горела деревня...

— Здесь тебе никто не судья, — наконец сказал Ефим. — Здесь сам себя или осудишь, или оправдаешь.

— И я так думаю. А что выбрать, и сейчас не знаю. Бывает, злось на себя. Хотя знаю — нельзя. И Теклюшка всегда говорила, что злиться на людей нельзя. Нельзя, как бы тебя ни крутила жизнь. Понимаешь? Ослепнешь, человека в человеке не увидишь. И в себе — тоже. Озвереешь. Я, может, ещё недавно от злости незрячим был. В город шёл людям за Теклю мстить. Теклю у себя держали, издевались над ней, как хотели. Говорила, если бы не грех, так руки на себя наложила бы. Зверем к ним шёл, хотя не знал, что будут делать, но — зверем. Может, зверем и остался бы, если бы не встретил Катю с мальчиком, а потом — Надю со Светкой. Увидел их, и опустили руки, душа оттаяла. Вот оно как.

— Так что, Осип, простил? Или, как когда-то Фаддей говорил, молись за обижающего тебя? Да — по левой щеке бьют, правую подставляй? Да так изверги всё заполонят, всё изничтожат. Нет. Моего согласия на это не будет! Я с тобой за Теклю хоть сейчас, старый, заступлюсь, если молодым не заступился. В город хоть завтра пойдём!

— Пойдём. Только самосуд чинить не будем. Не нам других судить — это я тоже понял. Сам понял, хотя слышал, в Писании так сказано. Сказано-то сказано, а каково понять?.. Очень непросто понять, знаю. А поймёшь — по- иному на мир смотреть будешь... К власти пойдём, пусть их и судит, на то она власть. И меня пусть судит, коль за сына виноват.

— Дурак ты, Осип! Виноват... Ни в чём ты перед властью не виноват, Савелий сказывал ещё тогда, как ты исчез. И я дурак, судить тебя брался. А право у меня какое? Когда ты ушёл из деревни, долго я сам себе в душу заглядывал, пытаюсь понять, что там и как. Оказывается, там столько всего такого, за что меня ты должен судить.

— Брось, Ефим! Судить... Хватит того, что сами себя судим. Судить легко — понять трудно. А коль поймёшь самого себя так, как с твоих слов понимаю, лад в душе найдёшь.

— Вот, вот, точные твои слова...

Умолк Иосиф, молчал и Ефим. Долго молчали, наверное, каждый думая о чём-то своём. Наконец, Иосиф, словно пробудившись, молвил:

— Ты вот что, Ефим, скажи о Катинном и Петровом мальчонке, как он там без отца? Видел я его на базаре, на отца, на Петра похож.

— Похож, вылитый отец. Петьюкой Катя назвала, Петриком. В школу идет нынче, в первый класс. Дедом меня кличет, Валика — братиком, Светлану — сестричкой. И ты ему дедом будешь, а как же. А парни мои придут — дяди. Жду.

Ефим смолк, задумался. Иосиф посмотрел на него, сказал:

— Жди. Придут. Много кого ждут?

— Ждём? Много кого. Игнатий Соперский пришёл, знаешь уже. Митроша Сдоба, Фёдор Жевлак, Никита Печенев, Борис Иванов, Степан Кравченко. А кто никогда не придёт, так имена тех на обелиске рядом с именами тех наших с тобой односельчан, которые дома погибли. Обелиск там, где клуб был. И Марфушка моя там, как знаешь. Ты вот могилку своей Текли каждый день видишь, сам её земле предал, а от моей Марфы ничего не осталось, даже пепел ветер развеял. Как же ты один Теклю смог похоронить?

— Так и смог... Сидела на крыльце, ждала меня, как всегда. Я из леса шёл, она увидела, поднялась, что-то хотела сказать и упала... А похоронил, так не буду говорить как, тяжело было, очень тяжело, гроб на кругляки положил, тащил. Был у меня, себе смастерил. Себе, а получилось...

— Тогда и не говори. Лёгкая смерть у неё, Царство ей небесное. А у моей Марфы — не человеческая. Узнал я, где Марфушка последний раз на земле была, по обгоревшей пуговице с её кофты. Пуговица та заметной была — посередине на голубом выбита роза. Я ту пуговицу подростком нашёл на дороге, когда по миру ходил. Очень мне нравилась она, красивая была. А когда с Марфушкой сошёлся, подарил ей — вот и всё моё богатство на то время. Пришила она себе пуговицу на кофту, говорила, к счастью: на дороге найдена. И потом перешивала с кофты на кофту. По этой обгорелой пуговице с оплавленной розой и нашёл я свою Марфочку — горстка пепла во круг пуговицы. Хотел сгрести, налетел ветер, развеял, смешал с прахом остальных наших односельчан, сгоревших вместе с ней.

На том месте, когда с войны вернулись Павлик Юркевич, Мишка Ивановский, Коля Трофимов, а потом Игнатий, мы сначала крест поставили. Большой, больше, чем этот, издали он виден. А потом мужчины решили, что обелиск надо. Ведь люди наши разных наций и разной веры были — кресты разные.

— Говоришь, один на всех крест ставили, и обелиск один... И я один крест нам с Теклюшкой поставил. Большой, страдалница она.

— И ты, Осип, страдалец. Я так понимаю, крест у вас один, хотя долго врознь жили. Мне бы с моей Марфушкой один крест.

— С нами всё понятно, Ефим, — сказал Иосиф. — Как жили, что делали... Закат наш близок. О молодых надо подумать. Прости, но я опять о твоих парнях спросить хочу. Ты же толком о них ничего и не сказал, одно — ждѣшь. Вести подают?

— Парни? Почему толком не сказал... Мне за своих больно, тебе за своего. У тебя, может, в сто раз горше душа болит, чем у меня. Что особенного можно сказать о моих? — Ефим уже рассуждал. — Говорил и говорю: жду. Но пока молчат. Бумага на них была, будто без вести пропали. Ещё давно была, как район освободили.

— Как это была? Порвал?

— Нет, не порвал. Есть такая бумажка, есть. Только не верю я ей. Савелий Косманович, помнишь такого, её у почтальонки перехватил. Он у нас участковый.

— Помню, хороший парень.

— И он не верит.

Валику хотелось крикнуть, что он тоже не верит, но сдержался. Впервые в своей взрослой жизни, а он считал себя взрослым, получается, подслушивает чужой разговор. Хотя почему — чужой? Дороги ему старики, столько пережили они на своём веку, что и вообразить невозможно. И если он без разрешения становится свидетелем их искреннего и очень непростого разговора, то, наверное, ему простительно: ничего не поделаешь, рано или поздно уйдут они из жизни, и что, на этом всё кончится? Нет, он должен знать, ему жить да жить, как иногда говорит дед Ефим, рассказывая, мол, не повторяй моих ошибок, Валик...

— Вернутся, — сказал Иосиф и повторил прежнее: — Будем ждать.

— А как же? — словно удивился Ефим. — Все ждут, всех ждут. И тебя в Гуде все ждут. Женщины наказывали: “Дядь Ефим, без дяди Иосифа не возвращайтесь”.

Сказав это, Ефим внимательно посмотрел на Иосифа. Тот молчал. Казалось, даже затаил дыхание. Наконец, вздохнув, заговорил:

— Нет, Ефим, не вернусь. Возле Теклюшки буду. Не могу я её оставить одну, крест у нас один, это ты верно сказал. Ты вот что, нашим поклон от меня передай и скажи, что не могу. Заботы здесь у меня есть. Скажи, что у меня всё хорошо, крепкий ещё. Вот нашёл ты меня с Валиком, и всё тяжёлое, что угнетало, к земле прижимало, да так, что света Божьего не видел, подальше ссунулось. А больше мне ничего и не надо.

— Почему не вернёшься? — возмутился Ефим. — Мы же все тебя ждём с того времени, как исчез, словно в воду канул. Семь лет минуло: где человек делся?.. Утонул?.. Вода снесла, что и следа нет?.. Сгорел, как дом занялся?.. Где мы только тебя не искали, как только не звали!.. А ты вон где!.. И как это я раньше не догадался?.. Хотя, признаюсь, не представляю, как ты в такой паводок, в такой холод смог выбраться на сухое.

— Как видишь, выбрался. Выбрался не потому, что очень хотелось жить, нет. Наверное, выбрался потому, что не мог умереть, не повидав Теклюшку. Наверное, какая-то неподвластная мне сила вела меня сюда. Может, судьба.

Выбрался, может быть, потому, что хотелось повидать Петрово и Катино дитя, всех вас... И может быть, для того выбрался, чтобы когда-то дожидаться вот такого момента, когда мы с тобой обнялись, дорогой ты мой друг. Так что теперь мне с Теклюшкой надо быть. Как же я её одну здесь оставлю? Три дни собирался в Гуду, хотела она этого. Хотела, чтобы к вам шёл, если она вдруг первой умрёт. А я говорил, чтобы к тебе, Ефим, шла, если что со мной случится. Говорил, что ты её в обиду не дашь, спрячешь, беглая же.

— Значит, верил в меня.

— И злился на тебя, а всё-таки верил тебе. И Михею с Николаем верил, и Кате с Надей. А теперь и Валику верю. Повидал вас, и ничего и никого не боюсь. Разве что одного: Теклюшку одну оставить.

— А я много чего боюсь, Оси, — сказал Ефим. — Боюсь, что сыновей своих не увижу: вернутся, а меня уже похоронят. Боюсь, чтобы с детьми не повторилось то, что с нами было. Боюсь, что ты, как сказал, не поедешь со

мной. Прошлого нашего с тобой боюсь: я же тебя бросил, когда ты Теклю шёл забирать, когда Авдей вёз её под венец. Боюсь своих слов, которые когда-то сказал сыновьям, провожая их на войну, словно проклял их. Также, как и ты Теклюшку, боюсь одну Марфушку оставить. Хотя не одна она там, с такими же мученицами и мучениками, как сама, а всё равно боюсь... За себя боюсь — правильно ли по земле шёл... За тебя, Осип, боюсь: как же ты здесь один будешь?..

— Ничего не бойся, Ефим, особенно за меня и Теклюшку. А слова, которые ты Никодиму и Ване говорил, когда они на войну шли, так правильные они были. Я их помню, с тобой же на фронт наших сыновей провожали. Моему бы Стасу их в наказ, да чтобы он их услышал, может, и я его, как сына, как человека ждал бы.

Я здесь буду, а вы домой плывите, не прогоняю, но и не задерживайтесь со мной, скоро начнутся осенние дожди, тяжело будет плыть. Даст Бог, увидимся. Сыновья твои вернуться, будет желание, приплывайте ко мне, уж очень хочется повидаться с ним, какие они сейчас, Никодим и Иван. Наверное, настоящие мужчины!

— Наверное, Осип, наверное. Скорее бы вернулись. — Сказав это, Ефим замолчал, медленно поднялся с колоды, сделал несколько шагов к берегу и остановился. Долго стоял, глядя на них, потом повернулся, подошёл к Иосифу, сказал: — Я вот что, с тобой и Теклюшкой останусь. Мне вас одних оставлять нельзя. А Марфушка меня поймёт и подождёт. А когда мои парни придут, так Валик им к нам дорогу покажет. Погостят, назад вместе уплывём. Валик, а Валик, слышишь? Привезёшь сюда парней?

Валик не ответил, будто не слышал. Его сердце гулко стучало, он не знал, как быть.

12

Валик плыл домой в лодке Иосифа Кучинского... Тот разговор двух стариков, близких и дорогих ему людей, всё всплывал и всплывал в его памяти. Он слышал их голоса. Видел их лица. Были старики седые и мудрые. Видел их глаза, будто выцветшие, но всё равно с какой-то просветлённостью. Пусть и печальной, но настоящей, той, которая ненавязчиво передаётся тебе, овладевает твоими мыслями. И ты задумываешься о том, что нет ничего простого в отношениях между людьми и что очень важно понимать друг друга, поддерживая на извилистых и крутых дорогах жизни.

Он ещё не знал, что и его жизнь будет непростой, а дороги — извилистыми и крутыми. Не знал, что на этих дорогах среди людей и к людям он много раз будет падать. Не знал, что тогда будет вспоминать этот разговор двух односельчан, судьбы которых тогда тронули его ещё по-настоящему не окрепшую душу, бросили в неё много и горечи, и тепла, а вспомнив, будет подниматься и помогать подняться другим, тем, кто упадёт один...

На всю свою долгую и очень непростую жизнь запомнит Валик, Валентин Игнатович Соперский, и свою, и старика Ефима встречу с Иосифом Кучинским, состоявшуюся на хуторе Кошара, надёжно спрятанном в лесной глуши природой от людей. Многое из увиденного и пережитого затеряется в его памяти, сотрётся, а это будет на самом верху, чтобы выявиться, выясниться, озариться в нелёгкие, а то и тяжёлые моменты жизни.

А пока он плыл по реке против течения домой, к родителям, к людям.